

**Анна
Борисова**



**VREMENA
GODA**

Анна Борисова

Vremena goda

«Abecca Global Inc»

2011

Борисова А.

Vremena goda / А. Борисова — «Abecca Global Inc», 2011

ISBN 978-5-17-071886-3

Роман «VREMENA GODA» написан эклектично в духе утонченного английского постмодерна Джеймса Джойса и изящно концептуального стиля романиста Джона Фаулза. Можно даже сказать, что он вообрал в себя все те богатства жанра, которые мастерски культивировали психолог и богоискатель Достоевский и блестящий романист-мистификатор Франц Кафка. А главное – книга написана с душой и от души, поэтому читать ее безумно приятно и эмоционально полезно. Это роман о «жизнецвете» – внутренней силе и разуме, которые живут в человеке, помогают быть счастливым до конца дней. В книге удивительным образом духовно связаны молодая девушка и парализованная старуха, которым не суждено чувствовать старость. Первой – из-за неизлечимой болезни, убивающей людей в молодом возрасте, второй – по той же причине в преклонном. И обе они живут, словно по очереди обмениваясь душами.

ISBN 978-5-17-071886-3

© Борисова А., 2011

© Abecca Global Inc, 2011

Содержание

Весной	6
Это Вера	6
Это я	35
Сашенька. Вокзал	42
Летом	56
Сандра в приснившемся городе	56
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Анна Борисова

Vremena goda

*«Но кто может льстить себя надеждой,
что был когда-либо понят?»*

Мы все умираем непознанными.

Так говорят эсеницы и так говорят писатели».

Оноре де Бальзак

Весной

Это Вера

– «Vremenagoda»? – Парень, стоявший на кассе, повторил название в одно слово, с ударением на последнем слогe. – C'est pas loin. Vous allez tout droit. Puis vous tournez légèrement à gauche, et après c'est affiché... De rien.¹

И еще сказал (Вера со своим хиловатым французским не сразу сообразила, как перевести «reflet de soleil»²):

– Есть же красавицы на свете. Какая у вас улыбка. Будто солнечный зайчик. Наверно вас никогда не посещают грустные мысли.

– Никогда-никогда, – засмеялась Вера, прислушиваясь к внутреннему тиканью.

Все-таки не зря французов считают чемпионами мира по комплиментам. Это ведь он не клеится. Какой смысл? Сейчас она сядет в машину, уедет, и он ее никогда больше не увидит. Просто взял и улучшил человеку настроение. Бескорыстно.

Тиканье было тихое, игнорательное. Надеть наушники, включить музыку, и будет неслышно. Не повод для тревоги. Просто авиаперелет и немножко понервничала из-за машины.

Водить Вера начала всего полгода назад и пока еще напрягалась. Плюс незнакомый маршрут, чужая страна.

Это Берзин ее усадил за руль. Убедил, что ей в работе обходиться без колес – чистый мазохизм. Одно из его любимых словечек. У него целая концепция. Пока мы, русские, не избавимся от пристрастия к мазохизму, так и будем в дерьме сидеть. Это, положим, вопрос спорный, но насчет колес, Берзин, конечно, прав. Совсем другое дело – ездить по дедкам-бабкам на машине. Не зависишь от поездов, от автобусов. Можно напихать в багажник кучу всякой всячины. Можно взять с собой четырех человек. Едешь, болтаешь, ржешь, музыку слушаешь. За дорогу не устанешь, а наоборот отдохнешь. Никогда Вера не думала, что она из разряда людей, кто водит машину. А вот научилась, хоть было трудно. Зато теперь повод для гордости.

Берзин купил для нее шикарный внедорожник. Ну, не лично для нее, для фонда. Но в ее персональное распоряжение. Когда Вера узнала, сколько джип стоил, пришла в ужас. Накинулась: «Зачем? Стыдно разъезжать по дождям на роскошном лимузине!». Он в ответ: «Не на роскошном, а на качественном. Я ж тебя не на «порш-кайенн» посадил». Она давай загигать пальцы: «На эти деньги можно было в Ладейкине подстанцию построить и всю электропроводку поменять! Или отремонтировать Рыжовский интернат! Там окна вываливаются, краска с потолка лохмотьями!». Берзин перебил: «Мои деньги. На что хочу, на то и трачу. Вкладываться в барахло, которое от паршивых дорог через год квакнется, это мазохизм. А твой фриц и двести, и триста тысяч наматывает». И опять, наверное, он был прав.

В аэропорту «Шарль де Голль», в автопрокате, Веру ждала заказанная Берзиным (ну, не самим, естественно, – секретаршей) машина. Попроще, чем фондовская, но тоже очень хорошая. Автомат, климат-контроль, навигатор (по-французски «жэ-пэ-эс»).

Вера, хоть и в напряжении, но без особых проблем, проехала двести километров по шоссе А-13, однако вскоре после съезда с трассы уперлась в ремонт дороги. Жэ-пэ-эс повез ее сначала в одну сторону, потом в другую. Наконец, совсем завравшись, стал требовать, чтоб она при

¹ Это недалеко. Едете прямо. Потом слегка берете влево, и дальше будут указатели... Не за что (*фр.*).

² Солнечный зайчик (*фр.*).

первой возможности развернулась. Пришлось заехать в магазинчик при бензоколонке, спросить дорогу.

Оказалось, цель близка. За первым же поворотом обнаружился указатель, и дальше всё действительно было «афише», не заблудишься.

Почему они так странно пишут название: «VrémenaGoda» – подумала Вера. Что на дефисе, понятно. Для французов это бессмысленное сочетание звуков. Проще воспринимать как одно целое. Но зачем черточки над «е»? Сообразила. Без аксантов буква «е» произносится как «ё». Получилось бы «врёмёна».

Французский язык Вера когда-то учила в спецшколе. Потом, в институте, подзабыла. Но сейчас, перед командировкой, Берзин организовал ей интенсивный курс с погружением, нанял двух персональных преподавателей. Нашего для грамматики, француженку для разговорного. Во «Временах года» в принципе все говорят по-русски, а при общении с местным персоналом можно было бы обойтись без тонкостей субжанктива-кондисьонеля, но Вера была перфекционистка. Собираешься прожить год во Франции – изволь говорить на языке нормально, не через пень-колоду. Кроме того, не сидеть же на территории двадцать четыре часа в сутки. До Этрета, где Мане рисовал скалы, полчаса езды. До Руана, где сожгли Жанну Д'Арк, меньше часа. В Нормандии полно всякого интересного!

Тиканье совсем пропало. Вера успокоилась. Даже стала подпевать айподу. У нее там был записан специальный сборник песен для длинной дороги, без системы и разбора – просто всё, чему можно подтягивать.

«Красавицы могут всё! Красавиц счастливей не-ет! Они никогда не плачу-ут! У них не бывает бе-ед!» – звонко выводила она, когда из-за поворота, на той стороне дороги, выплыл большой коричневый щит с изображением замка и надписью на двух языках: «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РЕЗИДЕНЦИЮ «ВРЕМЕНА ГОДА».

Ура, приехали!

Вера поддала газу, чтобы едущему сзади грузовику не пришлось притормаживать, когда она станет поворачивать через разделительную.

Вдруг с обочины прямо под колеса шмыгнула черная тень. Не поняв, не разглядев, что это, Вера со всей силы вдавила педаль тормоза. Ее кинуло вперед, ремень безопасности впился в грудь, голова мотнулась, слетели наушники. Заскрежетали шины, к этому звуку присоединился другой, еще более истерический – это черная кошка, подпрыгнув, выскочила из-под самых колес и с переходящим в ультразвук воем шмыгнула под живую изгородь. Вильнув грузным корпусом, сердито обгудев замерший «ситроен», мимо пронеслась длинная фура.

Вместо музыки в виски ударило такое бешеное тиканье, какого Вера никогда еще не слышала.

Сейчас? Вот прямо сейчас? В эту секунду? В незнакомом месте, в солнечный майский день? Не может быть! И как пошло, из-за черной кошки! Будто в паршивом телесериале!

Господи, нет! Не сейчас! Не так глупо!

ОМММ, ОМММ, ОМММ...

* * *

Все люди, как известно, смертны и, как опять-таки известно, *неожиданно* смертны. Каждый представляет собой мину замедленного действия, момент взрыва которой неведом. Авария, инфаркт, сорвавшийся тромб, псих с ножом, террорист-смертник – мало ли какая случайность или неслучайность может сыграть роль твоего персонального детонатора. За среднестатистический день на Земле умирает сто пятьдесят тысяч человек, из них треть в отнюдь не старческом возрасте.

Теоретически с любым человеком всегда может случиться что угодно. Однако мы знаем, что завод нашего часового механизма рассчитан лет на восемьдесят, и это знание помогает большинству до поры до времени не заикливаться на неизбежном.

И Вера не стала бы заикливаться. Характером и душевным складом (прав комплиментчик с бензоколонки) она больше походила на солнечный зайчик, а не на луны волшебной полосы. Но Верин часовой механизм был короткого действия. И еще время от времени «тикал», не позволял о себе забыть.

Девять лет назад на уроке физкультуры она вдруг потеряла сознание. Прямо из школы на «скорой» ее отвезли в больницу. Уже на следующий день Вера чувствовала себя совершенно нормально. Врачи сказали: ничего страшного, в переходном возрасте, при гормональном всплеске, такое иногда случается. Но перепуганные родители на этом не успокоились. Стали таскать дочку по клиникам, по специалистам, за большие деньги провели передовой по тому времени тест – магнитно-резонансную ангиографию. Обнаружилась редко встречающаяся патология: крупная аневризма базилярной артерии. Микроинсульт произошел из-за того, что этот дефектный участок дал кровоизлияние – на сей раз без необратимых последствий. Но рано или поздно аневризму прорвет по-настоящему, и сделать тут, к сожалению, ничего нельзя. Этот отдел мозга труднодостижим. Всякое оперативное вмешательство, например, попытка укрепить артерию стентом, чревато массивным инсультом. Так глубоко в мозг медицина залезать не умеет и научится еще очень нескоро, объяснил профессор. Кардинально решить проблему невозможно. Единственно – соблюдать режим. Поскольку резкое повышение кровяного давления чревато разрывом аневризмы, следует избегать физических нагрузок, сильного волнения, стрессов. Ну и молиться Богу.

Позднее Вера узнала, что с ее диагнозом до среднего возраста доживают процентов тридцать, до пожилого – почти никто. Все больные (не совсем правильное слово, ведь в обычной жизни такие люди чувствуют себя вполне здоровыми) по психотипу поведения делятся на две группы. Первая живет в постоянном ожидании катастрофы, маниакально соблюдает режим, поминутно измеряет давление – в общем, ведет хрупкое, стеклянное существование. Люди из второй группы, наоборот, «вытесняют» мысль о взрывном устройстве и проявляют гиперактивность, торопятся урвать от жизни всё, что она может дать. Середины не бывает. Единственное исключение, пожалуй, сама Вера.

Никакого трагизма в своем положении она не ощущала. Наоборот, ежеминутную радость от того, что живет. Не зря говорят: по-настоящему ценишь только то, что у тебя в любую минуту могут отобрать. Жизнь, просто жизнь – абсолютное счастье. Вера это не логически себе разъяснила, она это постоянно чувствовала. И жить хотела как можно дольше. Принимая условия тикающей в голове мины, но не цепenea от этого метронома. Нельзя заниматься спортом? Есть йога, есть система полного дыхания – для самочувствия это даже лучше бега или тенниса. Не показан алкоголь? Черт с ним, не больно надо. Она и без вина находилась в постоянной эйфории. Не рекомендованы быстрые танцы? Вера изобрела собственную манеру танцевать, замедленную, и получалось классно – некоторые даже пытались подражать ее плавным волнообразным движениям. Здесь вся хитрость – дробить ритм, делить его на два, а если очень быстрый, то на три. Опасно психовать? Вера приучила себя ко всем неприятностям относиться спокойно. Не философски, конечно – какой из нее философ, но без суеты.

В общем, жила Вера полноценной жизнью – как теперь говорят, не заморачивалась. Дурацкое слово, но в данном случае точное. Аневризма не стала для нее ни морокой, ни мбром. Вот только приходилось постоянно вслушиваться, что там с «тиканьем».

Вообще-то этот шум, слышимый ей одной, больше напоминал не стук часов, а бульканье воды в батарее. Но думать о своей жизни, как о трубе, которая однажды лопнет, был как-то... обидно. Человек не водопровод и не канализация. Человек – вселенная, которая может, конечно, погибнуть, но только от Большого Взрыва, а не от вульгарной протечки.

Став врачом, Вера узнала: шум возникает от завихрения кровотока, которое сопровождается вибрацией стенок артерии. Как только «затикало», нужно сбавить темп, расслабиться, провести комплекс дыхательных упражнений: оммм, оммм, оммм. Когда же бульканье стихало, Вера всякий раз испытывала прилив жгучего счастья. Еще один подарок судьбы! Жизнь продолжается! Если честно, она полюбила эти маленькие недосмерти с последующим воскрешением.

Расскажи Вера кому-нибудь, что считает себя обладательницей выигрышного билета, не поверили бы. Покрутили бы пальцем у виска. Но, во-первых, она никому про свой медицинский казус не рассказывала – зачем? А во-вторых, конечно, ей сказочно повезло. Разве нет?

Сколько людей доживает до старости, без конца ноя, что жизнь – тяжелое испытание и череда несчастий. Если б не аневризма, и Вера запросто выросла бы дурой, впадающей в хандру из-за ерунды. А кроме того есть люди – она нередко таких встречала – кто живет будто понарошку или во сне. Всё мимо них. Вот уж не ее случай!

Иногда она пробовала представить, как это: жить, твердо рассчитывая, что впереди у тебя еще пятьдесят или даже семьдесят лет.

Тоска.

* * *

Но от кошки, сигаящей под колеса, никаким аутотренингом не убережешься. Сердце судорожно качнуло кровь, она понеслась по артериям с удвоенной скоростью, в голове завибрировал, загудел взбесившийся кран. Самое опасное – усугубить потрясение страхом.

Никто не умрет. Всё хорошо. Всё отлично.

Вера сидела, вцепившись в руль. Включила полное дыхание. Короткие ритмичные вдохи, потом тягучий медленный выдох.

Оммм. Оммм. Оммм.

И что вы думаете? Побурлило, пошумело, начало стихать. Теперь нужно было закрепить успех специальным упражнением.

Вера очень осторожно вылезла из машины, села на траву, в двух шагах от обочины. Тяжелые ботинки расшнуровала и скинула. Они были всепогодные и любимые, но сейчас мешали. Зато одежду Вера носила такую, которая движений не стесняла. Сатиновые шаровары, байковая рубаша навыпуск.

Заплелась в спасительную позу «падмасана», еще подышала глубоким дыханием, минут несколько. Мимо проезжала машина – дуднула. То ли в смысле «круто», то ли в смысле «куку». И то сказать, видок у Веры был еще тот. Сидит на пыльной траве заплетенная кренделем деваха – жмурится, надувает щеки, бубукет губами.

Но неважно, что подумали в проехавшей машине. Бульканье утомилось, вот что главное. *Не сейчас*, окончательно поняла Вера. *Не в этот раз*. Какое счастье! Глупость эта ваша черная кошка.

И засмеялась, и села за руль, и поехала себе дальше.

И запела:

*Красавицы могут всё! Красавиц счастливей не-ет!
Сплошные цветы и танцы-ы! И вечные двадцать ле-ет!*

По длинной аллее, с двух сторон обсаженной платанами, по вкусно шуршащему гравию машина подкатила к старинным кованым воротам. Так, паркинг для посетителей налево. Но налево Вера сворачивать не стала, въехала прямо на территорию. Она не посетитель. Ей тут жить.

Замок она видела на сайте, но в жизни он был еще красивей. Не старинный, без средневековой массивности, без рвов и башен. То есть башенки-то торчали, но не грозные, а кокетливые, с ажурными флюгерами. В архитектуре Вера разбиралась не сильно, но все же достаточно, чтобы понять: это эпоха не королевы Марго, а скорее мадам Бовари.

К центральному зданию (Вера сразу по привычке окрестила его «главным корпусом») примыкали два длинных одноэтажных флигеля. Внутри этой буквы «П» широкая лужайка с фонтаном и клумбами. Начало мая, в Москве едва почки-листочки, температура плюс десять, а тут всю лето. Сумасшедшие цветы, над ними пчелки, бабочки. Старый парк темнеет густой, тяжелой зеленью. Территория, между прочим, двадцать гектаров. Там должны быть гроты, античные статуи, беседки и прочие изыски. Обрыв с променадом, откуда, если верить сайту, «открывается лучший в департаменте вид на долину Сены».

Проверим, весело думала Вера, вытаскивая из багажника сумки: в одной шмотье, в другой книжки да бумажки. Портфель с ноутбуком – на плечо.

Она была еще полупьяная после случившегося. Всё в ней жадно впитывало жизнь. Кожа млела под теплыми лучами солнца, глаза не могли насмотреться на разноцветье сада, нос щекали майские ароматы.

Тетенька с рецепции позвонила директору, сказала, что он через пять минут выйдет встретить, только закончит разговор с посетителем, не хочет ли «мадам доктор» пока выпить кофе. Смешно запнулась на фамилии: «Коро... Коробэ...» – и дальше никак.

– А вы, Беатрис, зовите меня по имени: Вероника или просто Вера.

У тетеньки на голубой куртке была прицеплена табличка с именем, но без фамилии. Очень большими буквами, притом по-русски.

– Не положено, – улыбнулась Беатрис. – Доктор есть доктор. Можно я буду звать вас «доктор Коро»? И все-таки, как это произносится?

Беатрис была славная. С седыми волосами, но совсем не пожилая. Объяснила, что работает через день по полсмены, потому что дети выросли и дома скучно. Пробует учить русский, но пока похвастать ничем. С *гостями*, правда, ей объясняться не приходится – они имеют дело с центром обслуживания, а там все знают язык.

– Ko-ro-bei-stchi-ko-va, – дважды медленно повторила она за Верой, обе посмеялись.

От кофе Вера отказалась. Сказала, что пока погуляет. Ей не стоялось на месте и тем более не сиделось. А кофе после приступа лучше не пить.

Полюбовалась на ирисы. Сколько оттенков лилового!

В Краснолесском доме ветеранов Марлен Федорович, бывший моряк, тоже разводит ирисы. Надо будет выпросить для него несколько таких луковиц. Две радости у человека осталось: цветы выращивать и про свои награды рассказывать, какую за что получил.

Стоило Вере вспомнить про это, как откуда ни возьмись, будто посредством телепортации, на аллее появился самый настоящий советский ветеран. Издали он был даже похож на дедушку из Краснолесья. Невысокий, плотный, и идет так же, будто каблуками землю на твердость проверяет. Грудь сверкает золотом. Только у Марлена Федоровича, когда припарадится, форма черная, морская, а у этого синяя. На фуражке синий околыш, и петлицы тоже синие.

Завтра же День Победы, вспомнила Вера. Наши там тоже все принарядились, ордена и медали надели. Чудно, конечно, увидеть посреди Нормандии такого деда. Хотя, с другой стороны, чему удивляться? Знала же, куда еду.

Даже приятно стало, что первый, кого она видит из здешнего контингента, так похож на обычных домоватовских обитателей. Вера вообще-то ожидала увидеть во «Временах года» совсем другую публику.

– Здравствуйте! – громко сказала она. – С наступающим вас! Я из Москвы приехала. На стажировку. Вероника Коробейщикова. Можно просто «Вера». С днем великой победы!

Она знала: для стариков День Победы – самый главный праздник. Потому так торжественно и выразилась.

Старик подошел и оказался не очень-то старым, то есть даже вовсе не старым. Крепкий мужчина среднего возраста, с аккуратно подстриженными седыми усами, движения бодрые. Семьдесят три – семьдесят четыре, определила Вера, хоть выглядит на десять лет моложе. В возрасте стариков она редко ошибалась. Опыт.

– Здравствуй, красавица. – Военный человек (две полосы, три звезды – это майор или полковник?) с удовольствием рассматривал Веру. – Было бы с чем поздравлять. Дурное дело – позавчерашним победам радоваться.

Она подумала, что ослышалась или не так поняла. Ветеран невесело усмехнулся в усы.

– У нас, как известно, два повода для национальной гордости. Гагарина в космос послали и немцев победили. Одной победе полсотни лет, другой шестьдесят пять. Новых побед в обозримом будущем не предвидится. Вот и радуемся старым. Уж и страны нет, которая победы одерживала, а всё в трубы трубим.

Дед был, кажется, не совсем обычный. Вера с любопытством спросила:

– Что ж вы мундир надели, ордена?

В наградах она, благодаря рассказам Марлена Федоровича, разбиралась лучше, чем в погонах. Орденов у ветерана было три, и все небоевые: «Знак почета», «Дружба народов», «Трудовое красное знамя».

– В прежние времена на флоте это называлось «показывать свои цвета». В смысле, демонстрировать национальный флаг. Для этого военные корабли специально заходили в иностранные порты. Чтоб в мире помнили: есть на свете такая держава. Вот и я тоже разрядился папуасом, чтоб напомнить французам: была на свете великая держава серпа и молота. – Он постукал себя по кокарде. – Была и снова будет. Когда-нибудь. Я-то не доживу, а ты – запросто. Ничего, что я на «ты»?

– Очень хорошо. Мне так даже приятней.

– Красивая, – повторил он. – Настоящая природная красавица. Брови, глаза, румянец – хоть на обложку журнала. Только зачем же ты, дочка, себя уродуешь? Оделась, будто на овощебазу. Платком повязалась. Картина художника Лебедева «Рабфаковка с портфелем».

К критическим замечаниям по поводу ее манеры одеваться Вера привыкла. Берзин называл ее стиль «С amp;A», что расшифровывалось «Cheap and Awful». Если бы работодатель знал, что она покупает вещи даже не в дешевом универмаге, а на китайском рынке, вообще бы в обморок упал. Но тратить деньги на брачное оперение, которое тебе никогда не понадобится, Вера считала глупостью. Одежда должна быть зимой – теплой, летом – легкой и в любое время года удобной. Точка. Она и сама никогда не обращала внимания, кто как одет. Берзин говорил, что у нее мужской взгляд, что она не видит деталей, а срисовывает только общее впечатление: этот человек стильный, тот безвкусный, этот богатый, тот бедный, этот свой, тот чужой.

Слова ветерана Веру насмешили. Рабфаковка с портфелем!

– Без платка у меня вот что.

Сняла бандану, потрянула головой – стала похожа на дикобраза.

Ветеран присвистнул:

– Другая за такую роскошь давилась бы, а ты прячешь! Беда с вами, умными девочками. Боитесь быть слишком красивыми.

– Почему вы решили, что я умная?

Она еще больше развеселилась. Дедушка, кажется, был в самом деле занятный.

– Глазки ясные. Это хорошо, что умная. Будет с кем поговорить. Сама-то замужем? Нет? Но кавалер-то есть, как не быть.

Вера с улыбкой покачала головой.

– Тогда имею на тебя виды. Не для себя, не думай. – Подмигнул. – Для внука. Он у меня парень неплохой. Приедет – познакомлю. Позвольте официально представиться. Ухватов Валерий Николаевич, полковник Комитета государственной безопасности. В глубокой отставке. – Ветеран лихо отсалютовал. – Значит, Верочка, прислали тебя набираться опыта? Как лучше пестовать старпёров буржуйского сословия?

– Почему только буржуйского? Разве вы буржуй?

– Я нет. Я осколок империи. Зато сынуля мой – первосортная акула капитализма. Это я на его денежки тут припухаю. Он у меня коррупционер, – пояснил Валерий Николаевич так, словно речь шла о вполне обычной профессии. – Я-то, когда его отдавал учиться в Вышку, в Высшую школу КГБ, думал, смену выращу. Хороша смена. Только умеют, что крышевать да отпиливать. Мы все были воины. Тоже не без уродов, конечно, но большинство служили Делу. А эти нынешние – торгаши продажные. Мой Петька по роду службы приставлен за таможенной бдить. Дачу на Рублевке себе набдил, пентхаус с видом на Москву-реку. Папаню сюда вот на санаторные харчи пристроил. Был бы я Тарас Бульба – убил бы стервеца. А я ничего, пользуюсь. Жду, пока внук вырастет.

Вера занималась тем, чем она занималась, потому что старики были ей по-настоящему интересны. Она не имитировала внимание, когда слушала их нафталиновые рассказы, все эти истории о незадавшейся жизни. А какой еще может быть жизнь человека, доживающего свои дни в богадельне, пускай даже шикарной?

– Вы были разведчиком? Здорово! Расскажите? Или нельзя?

– Гриф секретности снят. Раньше в газетах имелась рубрика: «Теперь об этом можно рассказать». Были бы слушатели. – Валерий Николаевич с преувеличенной галантностью предложил локоть, Вера изобразила книксен. Они медленно пошли по аллее вдоль газона. – Комитет был разветвленной организацией. Фактически параллельной структурой госаппарата. На этой кристаллической решетке держалась вся империя. Разведчиком, Верочка, я не был. Я работал на фронте международного сотрудничества. В ка-зэ-эм, потом в ссоде, потом десять лет в международном отделе вцэспээс курировал контакты с иностранными морскими профсоюзами. На каких только морях не плавал, где только не побывал!

– У меня есть знакомый моряк. Тоже в доме ветеранов живет. Не в таком, конечно, – сказала Вера. – А что такое... вот эти все аббревиатуры?

– Комитет защиты мира, Союз советских обществ дружбы. Что, и ВЦСПС не знаешь? Эх, племя молодое, незнакомое. Короче, занимался я международной солидарностью трудящихся. Важное дело. Стратегическое. Было время, оказывали мы поддержку рабочему классу во всем мире. У самих, как говорится, в брюхе щелкало, а помогали. Теперешние наши вожди только пыжатыся, про великую Россию болтают. А нет никакой великой России. Вот Советский Союз был великий. Третью мира Москву слушала, от Бранденбургских ворот до Африки. Нынче весь наш лагерь – Абхазия с Южной Осетией. И те фордыбачат.

– А зачем нужно, чтобы Африка слушала Москву? – спросила Вера. Не для спора, она со стариками никогда по политическим вопросам не полемизировала. У каждого свое кредо и своя правда. Если человек горячо рассказывает про свои убеждения, это всегда интересно.

– Такая у нас страна, Верочка. Исторически, энергетически, духовно. Одно слово: держава. Миссия всякой державы – собирать вокруг себя народы. Не сосать из них соки, а питать своей кровью. Мы, Советский Союз, так всегда и делали. А когда отступились, то утратили право называться державой.

Интересный человек этот Ухватов. С какой силой говорит – заслушаешься. Всё-таки у меня самая лучшая профессия на свете, подумала Вера.

– Полтысячелетия наши предки Третий Рим строили, – горячо и серьезно втолковывал ей бывший полковник госбезопасности. – Хорошо ли, плохо ли, но с полной отдачей. Не жалея живота своего. Православие-самодержавие или социализм-коммунизм – неважно, как назы-

вается идеология. Суть в том, через какую точку проходит силовая ось мира. Вокруг какого стержня земля вертится. Две трагические потери у нас в двадцатом веке случились. Два удара, от которых всё рухнуло.

Вера попробовала угадать, что он имеет в виду. Революцию? Вряд ли. Он ведь за СССР. Горбачева? Но при чем тогда «трагическая потеря»?

– Какие два удара?

– Убийство Петра Аркадьевича Столыпина и смерть Юрия Владимировича Андропова. – Ухватов вздохнул. – Если б Столыпин в 1911 году не погиб, нам не пришлось бы производить капитальный ремонт государства, полную его перенастройку. Такой кровью, такими жертвами. А с Юрием Владимировичем... Эх, сколько надежд с ним было связано! Только начал он считать с нашего днища всю налипшую грязь, гнилые водоросли – всякий корабль обрастает в долгом плавании дрянью – и на тебе. Год всего у штурвала простоял. А потом началось... Слабые, мягкожопые столпились на капитанском мостике, застрекотали, забазарили, переругались и вмазались-таки в рифы... Я быстро всё понял. Ушел в отставку, когда Горбач, иуда, объявил про уход из Афганистана. А между прочим, Верочка, был я уже на генеральской должности. М-да... Через пять лет в органах вообще никого из старой гвардии не осталось. Настало время лавочников в погонах...

Валерий Николаевич вдруг остановился. Навстречу по дорожке медленно и важно двигалась полная женщина в кожаном плаще и больших темных очках. Из-под голубоватого завитка тщательно уложенных волос сверкнула золотом увесистая серьга. Хотя дама, в отличие от Ухвата, была без мундира и советских орденов, ее национальная принадлежность никаких сомнений не вызвала.

– О, еще один обломок кораблекрушения дрейфует, – шепнул Ухватов. – Вот такие, как эта мадам, державу и потопили. На дачу с теплым сортиром променяли. Как у Багрицкого: «От мягкого хлеба и белой жены мы бледною немочью заражены». Пойду я, Верочка. Меня от коровы этой блевать тянет. Увидимся.

Шутливо вскинув ладонь к козырьку, полковник свернул к фонтану. А Вера улыбнулась приближающейся старухе. Возраст: семьдесят семь – семьдесят восемь. Одышка, походка артритическая, цвет лица пастозный.

– Здравствуйте. Меня зовут Вера Корбейщикова. Я приехала на стажировку.

– Из Прибалтики? В службу? – непонятно спросила та. Удивительная манера смотреть на людей: сверху вниз, хоть сама на полголовы ниже. Возможно, какая-то проблема с шейным отделом позвоночника. – Ну, старайся, старайся. Поменьше тут хвостом верти. А то знаю я вас. Чуть оглядитесь – и шмыг замуж за француза. Неохота вам за пожилыми людьми ухаживать.

– Мне как раз охота. Я врач-гериатр. Из Москвы.

– Врач? – Дама покачала головой. – Представляю себе. Кидают на пенсионеров кого не жалко. Врач! Тебе сколько лет, милая?

– Двадцать пять. Почти.

Вера улыбалась. Когда работаешь со старыми людьми, главное – терпение и не раздражаться. Очень часто они рывкают и грубят просто потому, что неважно себя чувствуют или болит что-нибудь. Молодой тоже, если, например, с утра зуб прихватило, рычит на всех волком. А для пожилого человека физический дискомфорт – постоянный спутник жизни.

Улыбка подействовала. Суровая тетя смягчилась.

– Клара Кондратьевна Забутько. Мой покойный супруг был вторым секретарем обкома. – И зачем-то прибавила, со значением. – По идеологии.

– Надо же, – почтительно протянула Вера. – По идеологии!

Сама подумала: полковник КГБ, вдова партийного секретаря. Неужели тут весь контингент такой?

Она собиралась спросить, в какой части страны трудился на своем ответственном посту товарищ Забутько – старушке это было бы приятно, но сбоку кто-то крикнул:

– Доктор Коробейщикова! Тысяча извинений! – Прямо по траве, широко шагая и маша рукой, шел стройный мужчина в голубой куртке, белых брюках. Седая шевелюра рассыпалась по плечам. – Не мог раньше! У меня был разговор с председателем Совета резидентов. Я директор, Люк Шарпантье... Бонжур, прекрасная мадам Забутько. Эти серьги прелестно оттеняют колёр ваших волос.

Он элегантно клюнул даму массивным носом в запястье. Клара Кондратьевна зарделась, легонько хлопнула куртуазника по затылку.

– Хохмач!

Директор распрямился. Пожал стажерке руку. Господин Шарпантье не попадал в возрастной диапазон, с которым она обычно имела дело, поэтому точно определить, сколько ему лет, Вера бы не взялась. Наверное, около шестидесяти. Но в супер-форме. Морщины только там, где они красят, а не уродуют. Белейшие, причем собственные, зубы. Небольшие, цепкие глаза с ярким молодым блеском. Ни грамма лишнего веса. Золотая цепочка, львиная грива и перстень на пальце, пожалуй, лишнее. И без этого оперения директор был бы красавец. («Периода полураспада», прибавил бы злой на язык Берзин.)

По-русски директор говорил бегло, даже как-то по-щегоольски, только звук «р» в горле раскатывал: «дихэктох», «пхэлестно». Нагрудная табличка на двух языках: «Dr. Luc Charpentier» и крупными буквами: «ЛУКА ИВАНОВИЧ».

– Моего отца звали Жан, поэтому «Иванович», – ослепительно улыбнулся Шарпантье. – Резидентам приятнее иметь дело с человеком, которого можно звать по имени-отчеству. Некоторые меня называют «доктор Плотников». По-французски моя фамилия значит «плотник».

Вера кивнула: знаю.

– Клара Кондратьевна, я похищаю у вас нашу гостью. С грацией танцора Шарпантье приобнял Веру за талию, повлек за собой.

– Ты поосторожней с ним, моральным разложением, – крикнула вслед госпожа, вернее товарищ Забутько. Но крикнула без осуждения, скорее одобрительно.

А Вера и так уже видела, с кем имеет дело. Ей всю жизнь везло на альфа-самцов. Притом что сама она к этому мужскому типу была абсолютно равнодушна. Победительность и напор на нее не действовали. Разве что в отрицательном смысле.

Вести себя с этой публикой она давно научилась. Рецепт прост: держи дистанцию и никаких женских игр.

– Я очень рассчитываю на вашу помощь, – сказала она серьезно. – Мне нужно столькому научиться. Нам ведь в России придется всё создавать с нуля.

И директор сразу перестал строить глазки. Талию отпустил. Так-то лучше.

– Знаю. Видел. Вы храбрая женщина, мадемуазель Вероника. Ваши дома престарелых («пхэстахэлых») – это ужас. Поместить бы туда Клару Кондратьевну, пусть только на одну неделю. – Он мечтательно улыбнулся. – Но нет. Даже ей я этого не желаю. Хотя, конечно, она очень утомительная особа.

– Откуда у вдовы советского партработника средства оплачивать всё это?

Вера кивнула на замок, фонтан, чудесные клумбы.

– О, эта порода людей оказывается наверху при любой политической системе. Сын мадам Забутько служит в московской мэрии на очень, как это называется, хлебной? Да, хлебной должности. Я понимаю, у каждой страны свои особенности. Мне объяснили, что в России многовековая традиция: кто верно служит государству, тот получает неофициальную привилегию извлекать доход из своей должности. У нас, конечно, невозможно представить, чтобы служа-

щий парижской мэрии платил частному *maison de retraite*³ шесть тысяч в месяц за содержание матери. Налоговая полиция немедленно, как это, сядет ему на хвост?

Вера нахмурилась. Неприятно, когда иностранец со снисходительной миной тыкает тебя носом в недостатки твоей страны. Наши болячки мы вылечим сами, без чужих. Не всё сразу. И где, спрашивается, был бы этот «Лука Иванович» без клиентов вроде Клары Кондратьевны Забутько или Валерия Николаевича Ухватова?

– Объясните, пожалуйста, как во Франции устроена система «мезон-де-ретретов»?

Она еще чуть-чуть подсушила тон. Французский термин употребила за неимением эквивалента в русском языке. Язык не повернулся назвать «Времена года» «домом престарелых» или «домом ветеранов».

Шарпантье остановился, горделиво обвел рукой свои владения:

– У нас все-таки не обычный *maison de retraite*, а *résidence service*, «резиденция с обслуживанием».

– В чем разница?

– *Maison de retraite* может быть публичным. Нет, правильно сказать «общественным», да? Я знаю, «публичный дом» – совсем другое. – Он засмеялся. Вера же не улыбнулась, изобразила сосредоточенное внимание: типа «пожалуйста, не отвлекайтесь». Директор вздохнул и продолжил, слегка поскучнев. – В *maison de retraite* могут попасть все пожилые люди, кто хочет. Платит частично государство, частично муниципалитет, частично сам человек – из своей пенсии. Сведения о стариках, нуждающихся в размещении, собирают *Centres Locaux d'Information et de Coordination gérontologique*, центры геронтологической информации и координации. Если пенсионер по состоянию здоровья может жить автономно и не хочет никуда переезжать, ему помогают на дому. Размер денежного пособия определяется индивидуально, в зависимости от уровня доходов и, как это, степени автономности, так?

– Самостоятельности, – кивнула Вера.

– Спасибо, «самостоятельности». Ну, а как это пособие тратить – на жизнь в *maison de retraite* или на независимое существование, человек решает сам.

– Чем частный мезон-де-ретрет отличается от государственного? – спросила Вера. Всё что можно о французской системе она уже выяснила, но интересно же послушать мнение специалиста.

– Когда больше платишь, получаешь больше. Это естественно. Даже частные *maisons de retraite* все равно половину расходов покрывают за счет государственного и муниципального бюджета. Но человек может купить дополнительные услуги сверх положенного минимума. Например, жить не в комнате, а в целой квартире. Привезти свою мебель. Или домашнее животное. Бывают частные *maisons de retraite*, где у каждого свой коттедж с маленьким садом. Самая высокая категория обслуживания – это *résidence service* вроде нашей. Особенность «Vréménagoda» в том, что здесь почти не осталось французских граждан, а значит, мы существуем фактически без государственной поддержки. На принципе са-мо-оку-па-емости, – старательно выговорил он длинное слово. – Вы ведь знаете историю нашего дома?

Поскольку директор вроде бы прекратил делать апроши, Вера немного расслабилась, позволила себе улыбнуться.

– Он, кажется, был создан для русских эмигрантов?

– Да, в конце шестидесятых. Наша основательница (у нас ее называют просто «Мадам»), сама по происхождению русская. Она была известный геронтолог и гериатр, с собственным независимым капиталом. Решила позаботиться о соотечественниках. За тех, у кого не хватало средств, Мадам платила сама. О, это была выдающаяся женщина. При ней здесь в основ-

³ Дом престарелых (*фр.*).

ном жили русские из первой, после-революционной эмиграции. Совсем непохожие на мадам Забутько.

И снова он засмеялся, а Вера нахмурилась. Директор опять вздохнул. Наверно решил, что у суровой девицы напрочь отсутствует чувство юмора. А просто Вера не любила, когда персонал подсмеивается над контингентом. Во-первых, это некрасиво. А во-вторых, еще неизвестно, какие мы сами будем в таком возрасте.

– Сейчас почти никого из той генерации гостей не осталось, – меланхолично продолжил мсье директор. – Вымерли. Или превратились в пациентов.

Этого Вера не поняла.

– Простите?

– «Гостями» или «резидентами» у нас называют тех, кто хотя бы отчасти автономный. Самостоятельный, – поправился Шарпантье, вспомнив правильное слово. – А «пациенты» – это те, кто кантуется в КАНТУ.

Он выжидательно посмотрел на Веру – оценила ли каламбур.

Не оценила.

– Ну вот, – комично развел руками «Лука Иванович». – Я сам придумал эту шутку. «Кантуется» – очень хорошее коллоквиальное выражение. Все смеются. А вы какая-то царевна Несмеяка.

– Несмеяна, – поправила она. – «Кантуется» я поняла. Но что такое КАНТУ?

– А, вы не знаете. «CANTOU» значит Centre d'Activité Naturelle Tirée d'Occupation Utile. Как это лучше перевести? – Шарпантье защелкал пальцами. – Очень политкорректное французское название... Ну, в общем, это отделение для самых тяжелых. Во «Времена-года» там содержат тех, кто в самой последней стадии альцгеймера и уже не владеет даже самыми базовыми функциями. В бывшем Овальном салоне по периметру устроены двенадцать боксов, в каждом кровать. Посередине – стол старшей сестры с датчиками. И еще постоянно дежурит санитарка. Я знаю, сестры и санитарки между собой называют наше КАНТУ «овощехранилищем». Совсем неполиткорректно, но смешно. – Директор смущенно хихикнул и, как бы извиняясь, пояснил. – Низший и средний персонал у нас весь из Прибалтики. Они знают русский язык, нет проблем с разрешением на работу, и согласны на небольшую зарплату. А работа в КАНТУ тяжелая и депрессивная – нет, по-русски нужно сказать «депрессивная». Не приведи Господь заканчивать так свою жизнь. Я правильно сказал «не приведи Господь»? Спасибо.

Вера сама, бывало, задумывалась об этом, когда видела совсем уж беспомощных, выживших из ума стариков. Обыкновенные люди, у которых в голове ничего не тикает, мечтают дожить до ста лет – спрашивается, ради чего? Чтобы угодить в такое вот «овощехранилище»? Да если б еще в такое...

Она сказала, медленно подбирая слова:

– Я иногда думаю... Что, если это ужасно смотрится только со стороны? А внутри человек парит где-то там, в прошлом... или в грезах... в далеком детстве. У альцгеймерных больных часто бывает такой блаженный вид. Вы читали книжку мужа Айрис Мёрдок, писательницы? Она ведь умерла от болезни Альцгеймера.

Шарпантье смотрел на нее с интересом. Мол, продолжайте, слушаю.

– Под конец она всё сидела и смотрела детские мультики, ничем больше не интересовалась. Возможно, ей было не так уж плохо... То, что на самом деле, и то, как это выглядит, часто совсем не одно и то же...

– Где-то я эту мысль уже встречал, – торжественно заметил директор. В его глазах мелькнул огонек.

Вера почувствовала себя глупо. Ее косноязычный лепет насчет «быть» и «казаться» – жуткая банальность. И про Айрис Мёрдок директор наверняка в курсе. Он же специалист.

Ну и ладно. Зачем изображать, будто ты умней, чем есть? Познакомимся получше – всё встанет на свои места.

– Ой, православный батюшка! – Она повернула голову. – Здесь есть русская церковь?

Из левого флигеля, грузно переваливаясь, вышел бородатый дедушка в рясе, с крестом на груди, в шляпе, из-под которой свисали длинные седые волосы.

– Нет, это наш резидент, отец Леонид. Отставной священник. Последний из старых жильцов, кто еще в своем уме. Он, конечно, не после-рево-люци-онный эмигрант, но родился в семье «белых» русских. Очень интересный человек. Удивительно, но многие гости новой генерации, в большинстве коммунисты, ходят к нему на исповедь. Даже мадам Забутко.

– Ничего удивительного. В России то же самое.

Вера улыбнулась и помахала рукой священнику. Тот вежливо поклонился, медленно проществовал в сторону парка. Важный какой, подумала она. Будто с картины Репина «Крестный ход».

– Устройство у нашей резиденции такое, – объяснял директор. – В бывшем господском доме офис, ресторан, весь... социально-культурный блок, это ведь так называется? Спасибо. Там же медицинский сектор со всем необходимым оборудованием. Постоянного врача в штате нет, но каждый день приезжает дежурный терапевт. Через день консультирует психолог. В Овальном салоне, как я уже сказал, находится КАНТУ. На первом этаже (по-русски – втором) комнаты для занятий разных клубов. Нет, лучше сказать кружков, да? О, у нас чего только нет. Даже кружок китайского языка.

– Китайского? Зачем?

– Когда-то Мадам выдвинула гипотезу, что изучение сложного языка, желательно с иероглифической письменностью, помогает стареющему мозгу бороться с симптомами болезни Альцгеймера. Впоследствии эта гипотеза получила научное подтверждение. Бывшая владелица «Vréménagoda» много лет изучала проблемы старческой деменции и достигла серьезных успехов. Существует даже стипендия ее имени для исследователей в области гериатрии. А китайский язык Мадам хорошо знала с молодости.

Вера представила наших бабок-дедов, изучающих китайские иероглифы где-нибудь под стенгазетой «Почет ветеранам», и хихикнула. Люк Шарпантье поглядел на нее с удивлением.

– Мы не такие серьезные, какими хотим казаться... Это хорошо.

– А где живут резиденты? – сдвинула брови Вера. – Во флигелях?

– Да. Слева раньше была конюшня. Справа жили слуги. Но, как вы увидите, теперь там гораздо комфортабельней, чем в главном здании. Гостей поселили во флигели, потому что там нет лестниц. Все двери, как у нас называется, в rez-de-jardin, то есть на уровне сада. Jardin,⁴ кстати, тоже есть. С задней стороны к каждой квартире прилегает свой палисадник. Кто хочет, ухаживает за ним сам. Если нет желания, это делает садовник.

– Здорово! А сколько здесь человек?

– У нас тридцать шесть квартир. Семейных пар восемь. То есть всего сорок четыре гостя. Плюс двенадцать пациентов КАНТУ. Персонал живет в бывшей оранжерее, ее отсюда не видно. Моя квартира в Эрмитаже, вон за теми деревьями. Милости прошу в гости.

– Спасибо, – чопорно ответила Вера. – Непременно. Значит, я буду жить в оранжерее?

– Нет, это было бы нарушение порядка. Вы ведь доктор. – Директор ухмыльнулся, как бы давая понять, что сам он иерархическим глупостям значения не придает. – К тому вы же из страны – нашей кормилицы. – Он шутливо поклонился. – Поэтому вам особый почет. Будете жить в бывшем апартаменте Мадам. Это прямо в шато, на верхнем этаже. Вся социальная жизнь резиденции будет проходить перед вашими глазами. Очень удобно.

⁴ Сад (фр.).

Насчет «страны-кормилицы» Вере еще в Москве подробно объяснил Берзин. В середине девяностых, когда «Времена года» лишились благотворительницы, заведению пришлось туго. Несколько лет они тут перебивались с багета на сидр (шутка Берзина), проедали остатки средств, пытались сесть на шею государству. Наконец, исчерпав ресурсы, собрались закрываться, тем более что контингент потихоньку вымирал, а новым русским старикам во Франции взяться было неоткуда. И тут в чью-то светлую голову пришла отличная бизнес-идея. В стране проигравшего социализма как раз появилось много нефтяных денег, а проблема достойной старости оставалась нерешенной. Даже людям обеспеченным пристроить стареньких родителей было некуда. Ни пристойных учреждений, ни квалифицированного ухода. И вот на рубеже нового тысячелетия какой-то первооткрыватель обнаружил в дебрях Нормандии люкс-богательню «Времена года» с русскоговорящим персоналом. С этого момента заведение вступило в эпоху ренессанса. За десять лет бывшее благотворительное учреждение превратилось в высококорентабельное предприятие.

Оставив сумки на первом этаже, Вера в сопровождении директора отправилась осматривать главный корпус. Всё здесь было ей ужасно интересно.

В ресторане она поизучала меню, вздохнула. Впечатлил даже не выбор, а обилие блюд русско-советской кухни. Здесь учили, что старики ужасно консервативны в кулинарных пристрастиях. Селедка под шубой, холодец, шпротный салат, котлеты пожарские, судак по-польски, мясо по-суворовски, творожная запеканка, клюквенный кисель...

– У нас шеф из хорошего таллиннского отеля, – похвастался Шарпантье. – Я и сам люблю все эти винегреты, не похожие на vinaigrette, и салат без оливок, но с названием olivier. А какие у нас пекут пирожки! Пойдемте к дамам, они вас угостят.

В чайной зоне за столом сидели три бабушки, смотрели какое-то шоу российского первого канала – так увлеченно, что даже не обернулись. Две закисли от смеха.

– Чего она, чего? – приложив ладонь к уху, переспросила третья – тощая, как баба-яга, в алом шелковом тюрбане. – Что она ему сказала?

– Говорит: «Не парься, урод. Отвали».

– В каком смысле?

– Да ну вас, Эльвира Ивановна. Забываете слуховой аппарат, а потом мешаете смотреть. Вера покачала головой:

– Спасибо. Я потом со всеми познакомлюсь. Пойдемте дальше.

На ходу, слушая пояснения, записывала в блокнот: «В каждой квартире кухонный уголок. Кто хочет, готовит сам. Есть автобус для поездок в супермаркет. Или можно дать список продуктов – привезут».

Поднялись на второй этаж. В одной комнате занимался кружок мягкой игрушки. В другой хор репетировал «Эх, дороги, пыль да туман» для завтрашнего концерта. В третьей очень серьезный мужчина, похожий на певца Георга Отса (Верина бабушка обожала фильм «Мистер Икс»), диктовал кулинарные рецепты. Это и был переманенный из Таллинна чудо-повар.

– А здесь что?

Вера остановилась перед запертой дверью, на которой висела табличка с перечеркнутым крест-накрест портретом Ленина. Изнутри доносился мужской голос, что-то пронзительно выкрикивавший.

– Дискуссионный клуб. Для политических споров. Сегодня «белый» день. – Люк Шарпантье тихонько рассмеялся, видя на лице спутницы недоумение. – Видите ли, мадемуазель Вероника, вы, русские, очень пассионарная нация. Особенно в политике. Спор моментально переходит в ссору, ссора в драку. Поэтому пришлось поделить дни на «красные» и «белые». В «красный» день свои аргументы высказывают сторонники коммунизма, а их оппоненты только слушают. В «белый» день всё наоборот.

– Знаю я стариков, – недоверчиво заметила Вера. – Как это они будут слушать и ничего не отвечать? Так не бывает.

Директор хитро приподнял бровь.

– А вы загляните. Сегодня там будет пусто. «Белые» у нас – маргинальное меньшинство.

Зал, который, судя по экрану, использовался для кинопоказов, был почти пуст. На сцене стол с микрофоном. Там, тряся пальцем и захлебываясь, держал речь лысый человек в свитере. Аудитория состояла из одного-единственного слушателя. Он был в строгом костюме, белой рубашке, галстуке. Что-то быстро записывал.

– ...Так никогда ничему и не научитесь! – частил оратор. – Потому что ваша идеология не признает свободы мысли. Только умеете, что клонировать таких же, как вы, долдонов! «Марксистское учение всесильно, потому что оно верно» – вот вся ваша аргументация!

Шарпантье объяснял шепотом:

– Это господин Кучер Михаил Маркович. Диссидент. Был выслан из Советского Союза еще в семидесятые годы. Женился на состоятельной даме левых взглядов. Овдовел. Продав свою квартиру в шестнадцатом арондисмане, живет у нас. Как видите, его взгляды у нас непопулярны.

– Только один сторонник?

– Это не сторонник, а совсем наоборот. Секретарь нашего парткома. Что удивляетесь? У нас и партийная организация есть, как же без нее? Завтра, в «красный» день, секретарь будет возражать по пунктам, потому и записывает. О, это наша звезда. Не узнаете?

Директор назвал фамилию, которая Вере была смутно знакома.

– Кто-кто?

– Я забыл, сколько вам лет. Это один из членов ГКЧП. Доживает у нас. Дети-бизнесмены платят. Такая вот судьба.

Что такое ГКЧП, Вера сообразила не сразу. Потом-то, конечно, вспомнила. Фамилию эту она, кажется, слышала в далеком детстве.

– Иосифа Виссарионовича не оскорблять! Особенно в канун Великой Победы! – вдруг крикнул с места бывший путчист. Вера прослушала, что именно сказал про Сталина господин Кучер.

– Вам никто слова не давал! – легко перекричал его в микрофон выступающий. – И предупреждаю. Увижу в клубе портрет Усатого – сорву! Дома у себя хоть Гитлера вешайте. А в общественном месте не смей! И сядьте! Уважайте правила!

Партийный секретарь поднялся, грохнув стулом.

– Сам себя слушай, балабол! Затопал к выходу.

– Моемся, – быстро шепнул директор. – Нет, смываемся? Смываемся. А то нам тоже достанется.

Вера записала: «Мих. Марк. Кучер. Познакомиться. Проблема изоляции?». Приезжая в домвет, она всегда брала на заметку тех, кто страдает от одиночества или подвергается остракизму. Во всякой ячейке общества – дома престарелых не исключение – обязательно есть свои парии. Исследования, проведенные фондом, показали, что эта категория стариков уходит быстрее всего (слова «умирать», «смерть» в документах организации принципиально не употреблялись).

– Михаил Маркович всегда один? – спросила она. – С ним никто не дружит?

– Никто. Но ему, по-моему, и не нужно. Он диссидент по своей nature existentielle... – Шарпантье пощелкал пальцами.

Вера помогла:

– Экзистенциальной установке?

– Установке. Спасибо. Ему нужна оппозиция, конфликт с окружающим социумом. Это заряжает его энергией. Вам нужно придти в «красный» день. О, это интересно. Я видел в Москве спектакль «Горе от ума». Очень похоже.

– Как Чацкий, один против всех?

– Да. Только в пьесе Чацкий, если так можно сказать, не расстается с микрофоном, все время говорит. А тут наоборот. Только жестикулирует, мимикирует. Мимикует? В общем, делает лицо и кричит, а почти ничего не слышно, потому что микрофон ему в «красный день» не положен. При этом мсье Кучер выглядит совершенно счастливым.

Они спускались по лестнице с противоположной стороны главного корпуса. Вера с удовольствием погладила дубовые, черные от старости перила.

Пролетом ниже, на широком подоконнике сидела пара – мужчина и женщина. Курили.

Вера уже знала, что в шато повсюду устроены места для курения. Многие гости не желают отказываться от вредной привычки. Директор пожаловался, что ему трудно держать оборону против разного рода инспекций, которые требуют все курилки упразднить. Пока выручают ссылки на русскую этноспецифику и особый статус заведения.

– О, вам это будет интересно. – Шарпантье придержал Веру за локоть. – Еще две ярких личности. Обе с психической аномалией. У господина Эдуарда Мухина посттравматическая антероградная потеря памяти с частичной ретроградной амнезией. После автомобильной аварии отключились участки гиппокампа, ответственные за долгосрочную семантическую и эпизодическую память. Довольно редкий случай, хоть и описанный в литературе. Этот человек навсегда остался в 1973 году.

– Почему именно в семьдесят третьем? – шепотом спросила Вера.

– Не знаю. Но всё, что произошло после того времени, его память не зарегистрировала. У него в голове что-то вроде блокатора, который не пропускает ничего, что появилось позже. Он, например, знает всю музыку «Битлз», а «Роллинг стоунз» – только до диска «Goat Head's Soup». Каждый раз с недоумением смотрит на видеомэгнитофон. Пожмет плечами и проходит мимо. В квартире у него только техника того времени. Как мы намучились, когда у господина Мухина сломался проигрыватель для виниловых пластинок! Вы посмотрите, как он одет.

Мужчина действительно был одет чудновато. Как персонаж из фильма Милоша Формана «Волосы». Тертый джинсовый костюм с клешеными штанинами, туфли на платформе, индийская рубашка с острыми углами воротника. Длинные пегие волосы до плеч. Усы подковой. Дымчатые очки почему-то с яркой наклейкой на одном стеклышке.

– Его мозг отказывается регистрировать всё непривычное, не попадающее в картину семьдесят третьего года, – продолжал директор. – Помогает слабое зрение. Он плохо видит, а очков с диоптриями не носит, только солнечные.

– Почему не носит?

– Потому что в семьдесят третьем году господину Мухину было тридцать лет, и в очках не было необходимости. Еще, думаю, работает подсознательный механизм внутренней защиты. Легче не замечать того, что может смутить. А каким языком он говорит! Я не понимаю полотины.

– Но ведь окружающие наверняка рассказывают ему, что сейчас не семьдесят третий год? И потом, вокруг столько всего... современного.

– Не замечает, – Шарпантье развел руками. – Моментально забывает всё, что не вписывается в картину. А ночной сон окончательно стирает все впечатления предыдущего дня. Утром он каждый раз живет заново. Со всеми знакомится, всему удивляется и так далее. Смотрели фильм «Un jour sans fin»?

– Да, по-русски «День сурка». А женщина? У нее, вы сказали, тоже проблема с психикой? Какая?

Присмотревшись, Вера заметила, что собеседница лохматого господина Мухина тоже кажется молодой лишь на первый взгляд.

Крашенные в красно-рыжий цвет волосы, сильно подведенные глаза. И одета совсем не по возрасту. Замшевые сапоги выше колен, мини-юбка, а на костлявых, покрытых ненатурально коричневым загаром руках в несколько слоев болтаются браслеты.

Франт минувшей эпохи воскликнул:

– Умотная ты чувиха, Долли! – и тонко, заливисто засмеялся.

Женщина щелкнула его по лбу и тоже захохотала, хрипло. Запрокинула голову (даже издали было видно, как морщиниста обнаженная шея) и заметила, что сверху за ними наблюдают.

– Шарпейчик! – закричала она. – С кем это ты, старый греховодник?

– Потом, – тихо сказал директор Вере и просиял улыбкой. – Долорес Ивановна! Вы, как всегда, в прекрасной форме.

– За «Ивановну» ответишь. Ну-ка, води сюда свою цыпу. Дай посмотреть. Новый завоз свежего мяса?

Приближаясь к шумной тетке, Вера буквально с каждым шагом мысленно меняла возрастной диагноз. Сначала показалось, что Долорес Ивановне лет пятьдесят пять. Нет, скорее, шестьдесят. На середине лестницы Вера дошла до шестидесяти пяти. Подойдя же вплотную, снова скорректировала оценку. Неоднократные подтяжки, гормональные инъекции и всё такое, но никак не меньше семидесяти двух.

А «Долли» всё рокотала, неприятно скалясь:

– Уже оприходовал? Ты ж ни одной юбки не пропускаешь. Ничего, фактурная. Ишь, турусов на голове понастроила, не поленилась. «Куда так проворно, жидовка младая?» И на мордашку ничего. Бюстик имеется. А сзади что? Ну-ка жопкой повернись.

Вера нахмурилась. Такой типаж в наших дометах она ни разу не встречала. И слава Богу.

Насчет волос неправда. Они у Веры от рождения были ужасно густые, мелко вьющиеся. Ничего она с ними не делала, только причесывалась. Это уж они сами облаком вставали. Зато насчет «жидовки» отчасти угадала – волосы достались от бабушки-еврейки.

– Будешь разочарован, Шарпейчик. Поверь моему опыту. – Противная старуха нарочно выпустила стажерке в лицо дым. – Глаза рыбы. Лучше бы меня к себе в Эрмитаж пригласил, отшельник. Я бы тебя не разочаровала.

– Был бы счастлив. Но правила запрещают иметь романы с резидентами, – грустно вздохнул директор. – Как ваша мигрень, мадам? Таблетки помогли?

– Таблетки тут не помогут. Мигрень у меня от хронического недоёба.

Шарпантье раскатисто засмеялся.

– Какие проблемы, Долли? – воскликнул господин Мухин. – Партия сказала «Надо!», комсомол ответил: «Есть!».

Он с любопытством рассматривал пышноволосую Веру. Сквозь темные стекла было видно, что глаза близоруко щурятся.

– Мне знакомо ваше лицо. Вы не отдыхали прошлым летом в Пицунде?

– Нет.

– Я Эдик. Френды зовут меня «Муха». Потому что легок, но навязчив.

Заржал, обнажив желтые, плохие зубы. Воспользовавшись тем, что Шарпантье завел с Долорес Ивановной разговор о каких-то медикаментах, потянул Веру в сторону.

– Давай на «ты». Ты студентка? А я аспирантуру заканчиваю. Ты откуда? Из Москвы? Я тоже. А флэтуха где?

Это он про квартиру, догадалась Вера.

– На Тверской.

Берзин снял для нее студию в пяти шагах от своего офиса, где находился и фонд. Сказал, что тратить час на дорогу да час обратно – мазохизм. Вера почти не сопротивлялась. Не из-за дороги. Тяжело было жить с родителями. Они всё про одно: как себя чувствуешь да измерь давление.

– Где-где? – Муха не сразу сообразил. – А, на Пешков-стрит. Клёво! Ты только приехала? Я тоже. Вчера завалился. Тут в принципе нормально, по-западному, импортная мебель, все дела. Но скучно. Даже дискотеки нет, я спрашивал. Зато магазин «Березка». На серты работает, бесполосные. Ханка импортная, чуинг-гам, чипсы. Покурить хочешь? Бери, не стесняйся. – Он протянул пачку сигарет. – «Галуаз». Настоящая Франция. А то давай ко мне, сейшн организуем. У меня номер «люкс». Телевизор, музыкальный центр, стереоколонки. Я диски классные привез, слушаем. Вечером можно в Ригу сгонять. Там не то, что в Москве. Веселый город, Европа. В девять о-клок бай-бай не ложатся.

– В Ригу? – удивилась Вера. – Как это?

– Туда на электричке. Обратно на тачке. До Дзинтари ночью за чирик возят, я по прошлому году помню. One red Puyich. Мани ноу проблем. Муха приглашает.

– Где мы, по-вашему, находимся? – спросила она. Интересно же, что он себе воображает.

– Как где? В Дзинтари, в пансионате «Янтарный». Ты чего, не знаешь, куда приехала? Прикалываешься?

По лестнице поднималась уборщица с ведром и щеткой. Вере захотелось посмотреть, как больной реагирует на столкновение с реальностью.

– Добрый день, – сказала она. – Я Вера. Как вас зовут?

– Меня зовут Марта Озолия, – ответила уборщица с легким акцентом.

– Откуда сама, Мартусь? – подключился Мухин.

– Из Лиепая.

– Далеко ездить. Могла бы у себя в Лиепаве щеткой махать. Много платят что ли?

Латышка обстоятельно ответила:

– Я получаю восемь евро десять сантим за час. В Лиепая столько не платят.

Ну-ка, как Мухин отреагирует на евро и сантимы?

А никак. Будто не расслышал. Наклонился к Вериному уху и пропел: «Ночью, в узких улочках Риги, слышу голос дальних столетий. Слышу века, но ведь ты от меня далека. Так далека, что тебя я не слышу. Па-па-па-па. Па-па-папа-па-па-па!».

– Эй, Муха, хорош девке мозги компостировать. Не про твой хер малина, – бесцеремонно толкнула его в спину Долорес Ивановна.

Директор взял нахмурившуюся Веру под руку, повел дальше.

– Как вам красotka Долли? – шепнул он.

– Распущенная старуха с грязным языком!

Вопреки железному правилу никогда не обижаться на контингент, Вера жутко разозлилась.

Через минуту ей стало стыдно.

– Бедняжка Долли не распущенная, – стал рассказывать Люк. – У нее так называемый витцельзухт-синдром, «синдром игривости». Возрастная патология Cortex orbitofrontal, разновидность фронтотемпоральной деменции. При этом поражении лобных долей происходят личные, нет, как это, личностные изменения. Мир будто утрачивает всякий смысл, распадается на мелкие, дурацкие фрагменты. Больной ничего не принимает всерьез, ему хочется всё превращать в шутку. Любые этические запреты снимаются. Это называется, если я правильно помню русский термин, «эмоциональное уплощение». Обычно витцельзухт сопровождается гиперсексуальностью вследствие утраты самоконтроля. Отсюда склонность к непристойностям. При наличии возможностей – к промискуитетному поведению. О, с Долорес Ивановной у нас бывают проблемы. Она может надеть мини-юбку без дессу и нарочно сесть так, чтобы

мужчинам было всё видно. Это не очень аппетитное зрелище. – Люк Шарпантье грустно засмеялся. – Кто знает? И я могу когда-нибудь стать такой же грязный старик, с моими задатками. Что вы так смотрите, Вероник? Неужели вы в России никогда не имели дела с подобными случаями?

Вера покачала головой. Нет, в наших домветах бабушек с витцельзухт-синдромом она не встречала. Деда-похабники попадают, и нередко. Но от пожилой женщины бесстыдства не ждешь. Или у нас экземпляры вроде Долорес Ивановны просто не попадают в дома престарелых? Чтоб вести себя нагло, нужна внутренняя уверенность, сознание своего права. А наши российские «резидентки» слишком принижены...

– У нее наверно богатый сын? Или дочка?

– Разумеется. Других гостей здесь нет, сплошь родители разных *nouveaux-riches*. На русскую пенсию во «Vréménagoda» не проживешь. На французскую, впрочем, тоже. Хорошо иметь деньги. Избавляет от многих проблем. – Директор вздохнул. – Думаю, дети отплавили... нет, сплавили мсье Муха и мадам Долли за границу еще и потому, что иметь рядом таких родителей тяжело. Постоянный *source d'embarrasment*.⁵

Они дошли до библиотеки. В большой и светлой комнате со старинными дубовыми стеллажами чудесно пахло книжной пылью и ушедшим временем. Коричневые корешки тускло блестели золотыми буквами, на столах стояли пюпитры, а лампы были бронзовые, с шелковыми абажурами. Вера чуть не облизнулась, предвкушая, как славно она тут посидит тихими вечерами.

– Я был не совсем прав, когда сказал, что у нас живут только родители новых богатых, – шепнул ей директор, кивая на дальний угол.

Там бок о бок, спиной к двери, сидела пожилая пара. Две седые головы склонились над столом.

– Мсье и мадам Звонарев. Это не русский, а скорее французский вариант старости. Клим Аркадьевич сделал свой капитал сам и ни от кого не зависит. При советском режиме он был научный работник. Шеф лаборатории в электронном институте. Потом государство перестало давать деньги. Коллеги мсье Звонарева ждали, когда вернутся старые времена. А он ждать не стал. Открыл собственный бизнес, уже в очень немолодом возрасте, разбогател. Несколько лет назад продал компанию за хорошие деньги. Сейчас занимается ценными бумагами. Сам управляет своим портфелем. Отсюда, по Интернету. В его поколении такие феномены, я знаю, редкость.

– Познакомьте меня с ними, пожалуйста.

В том, как тесно они сидели, в уютиности, с которой рука старика лежала на плече жены, было что-то, вызвавшее в Вере не совсем ей понятное, болезненное чувство. В чем дело?

Шли, стараясь производить поменьше шума – происходило это само собой, под воздействием библиотечного антуража. То ли из-за этого, то ли из-за возрастной тугоухости сидящие пока не замечали, что кто-то вошел.

– Жаба, – сказал старик, – лапу оторву! Куда переворачиваешь?

– Ты, Сеня, целый час страницу разглядываешь! – пожаловалась жена.

На жабу она была ни чуточки не похожа. Ухоженная стройная дама, с балетной посадкой головы, в идеально белых волосах старинный гребень с камеей. Лет семидесяти семи. Муж на три или четыре года старше. На столе перед ними лежала переплетенная подшивка какого-то дореволюционного иллюстрированного журнала.

Говорили оба громче, чем нужно. Значит действительно неважно слышат.

– Почему она назвала его «Сеня»? – не особенно понижая голос, спросила Вера. – Вы говорили, он Клим Аркадьевич?

⁵ Источник неловкостей (*фр.*).

Оказалось, что старушка-то слышит нормально. Она обернулась первой, а уж потом шевельнулся и старик.

– Что? – переспросил он. – Жабик, что молвила девушка с волосами Саломеи? Извините, деточка, я глуховат. Люк, ребонжур.⁶

– Девушка спросила, почему я зову тебя Сеней, если ты Клим.

– А-а. – Сквозь толстые стекла очков глядели ироничные и какие-то – нет, не спокойные, а совершенно равнодушные глаза. Ничем их Вера не заинтересовала, даже «волосами Саломеи». – Семейная шутка. «С нами Клим Ворошилов и братишка Буденный».

– Кто? – озадачилась Вера.

– Долго объяснять. Другое поколение. У вас свои шутки, у нас свои. В наши времена «Клим» – это был маршал Ворошилов. А «Семен» – маршал Буденный. Где один, там и другой.

– Бивис, – обронила, будто подсказывая жена. Клим Аркадьевич кивнул.

– Вот именно. Это как если бы меня звали «Бивис», а жена называла меня «Батхед». Так понятней?

Вера кивнула, несколько уязвленная пояснением, рассчитанным на дебила-подростка. Хотела спросить, почему Клим-Сеня называет супругу «жабой», но не осмелилась.

Старик был проникновен. Сам объяснил:

– А Жанну Сергеевну я зову Жабой, потому что она Жанна.

Познакомились. Жанна Сергеевна задала несколько вопросов, но тоже как-то безразлично. Чувствовалось, что разговор поддерживается из вежливости, и супругам хочется остаться вдвоем.

– В счастливых семейных парах есть что-то неприличное. Им никто не нужен, они никого в свой мир не пускают, – сказал в коридоре Шарпантье. – Вы обратили внимание, как они между собой разговаривают? Половинками фраз. Даже четвертинками. И отлично понимают друг друга. Постоянно на одной волне.

Он вздохнул. Во вздохе слышалась зависть.

А Вера думала, что у нее никогда и ни с кем таких отношений не будет. Чтоб в восемьдесят лет сидеть бок о бок, понимая друг друга без слов и ни в ком постороннем не нуждаться.

– Может, будем заселяться? – весело сказала она. – Первое впечатление имеется. Спасибо, мсье Шарпантье.

– Люк. Пожалуйста, зовите меня Люк.

* * *

Он отвел ее туда, где Вере предстояло прожить целый год. Для стажера, даже из «страны-кормилицы», апартамент был чересчур велик: целых три комнаты. Настоящая директорская квартира.

– Слушайте, мне прямо неудобно. Почему вы сами здесь не живете?

– Предпочитаю в парке. Я и так слишком много времени провожу в этих стенах. И потом, вы юная, вам нестрашно, а меня пугало бы такое соседство... В квартире директора был еще кабинет. Вот за этой запертой дверью. Теперь туда вход из коридора.

– Что же тут страшного?

– А, вы еще не знаете... – Он странно посмотрел на нее. – Ну, тогда это произведет на вас впечатление.

– Да что?

С кривоватой улыбкой директор спросил:

– Здоровое сердце – это хорошо?

⁶ Здравствуйте еще раз (фр.).

– Конечно, хорошо. Почему вы спрашиваете?

– Вот вам демонстрация релятивности любого представления о плохом и хорошем. Я придумал каламбур: «здоровое сердце не всегда здорово». – Он подождал, оценит ли она. – Опять неудачный? Ладно, не буду вас интриговать. В бывшем кабинете теперь находится палата Мадам. У бедной старухи исключительно здоровое сердце.

– Разве Мадам жива? – поразились Вера. Она была уверена, что создательницы «Времен года» давным-давно нет на свете.

– Трудно назвать ее живой. Но она и не мертва. Пятнадцать лет в коме.

– Пятнадцать лет! Люк поежился:

– Ужасно, да? Западный мир воюет с холестерином, делает джоггинг. Скоро у всех стариков будет очень здоровое сердце. Но сердце – агрегат несложный, при хорошем техническом уходе может служить очень долго. Я думаю, лет через десять-пятнадцать проблему рака тоже решат. Для этого достаточно организовать тотальное онкодиагностирование. Однако ремонтировать мозг мы почти совсем не умеем. Механизм старения мозговых клеток – загадка. Если бы медицина научилась бороться с синдромом Альцгеймера, срок активной жизни человека составлял бы сто двадцать-сто тридцать лет. А так мы рискуем в двадцать первом веке превратить Европу и Америку в гигантское КАНТУ. Общество столетних «овощей», у которых продолжает тикать сердце. Правда, страшно?

– На свете есть вещи страшнее, – ответила Вера.

Страшно, что у вас и у нас проблема старости выглядит так по-разному, вот что она имела в виду. На Западе тревожатся, как продлить старикам срок полноценной жизни, а у нас старики обществу вообще не нужны, поскорей бы отправлялись на тот свет и не обременяли остальных. Но Шарпантье понял ее по-своему.

– Вам так кажется, потому что вы молоды. Вы-то сможете спокойно спать через стенку с «овощем», который когда-то был умной, деятельной личностью. А я бы не смог.

– А почему она не там, где остальные... пациенты?

– Из уважения. В ее кабинете оставили всё, как было раньше. Только установили многофункциональную кровать и необходимую аппаратуру.

– Пятнадцать лет – и всё жива? Удивительно.

У нас в домвете старуха, попавшая в кому, вряд ли прожила бы больше пятнадцати дней, подумала Вера. Пролетни, воспаление легких, плохой уход... Еще неизвестно, что милосердней.

– Мадам была в преклоненных... то есть преклонных годах, но удивительно свежая. Ум острый, как бритва. Молодые движения. Слух и зрение идеальные. Все в резиденции думали, она будет такой вечно. А потом удар – и всё... – Директор опустил голову, на лоб свесилась красивая седая прядь. – Есть вещи страшнее смерти.

Вера смотрела на запертую дверь, которая когда-то вела в кабинет Мадам.

– Вы ее часто навещаете?

– Никогда. Зачем? – Он даже содрогнулся. – Сделать для нее я ничего не могу. Учтивости имеют смысл, когда человек хоть что-то сообщает... Но хватит о грустном. Лучше расскажите мне о себе...

Они поболтали о том о сем еще минут десять, и Шарпантье ушел. Вера осталась в своих хоромах одна. Начала со вкусом обживать.

Жить самостоятельно она получила возможность недавно. Как и с вождением машины, ощущение было еще свежее, праздничное.

Наконец-то вырвалась из родительского дома, где воздух пропитан трагизмом и ожиданием беды. Папу с мамой, конечно, жалко, но своей мелочной опекой, пугливым заглядыва-

нием в глаза они здорово напрягали. Ну в самом деле, нельзя же год за годом существовать в атмосфере похоронной конторы!

И потом, Вера сразу почувствовала, что прямо-таки создана для независимого бытования. Большинство людей томится одиночеством, им нужно чтоб кто-то все время был рядом. Она же испытывала просто физическое удовольствие от мысли, что это ее и только ее дом, ни с кем его делить не нужно. Стены – будто вторая кожа или панцырь у черепахи.

Кто-то из классиков сказал: человек рождается и умирает в одиночестве. Может, нет ничего страшного, если он и живет один? Дружба, совместная работа не в счет. Это здорово и правильно. Но делить жизнь можно лишь с тем единственным, кого любишь, а если такого существа у тебя нет и не будет, то лучше обходиться собственными ресурсами.

Насчет любви у Веры вопрос был давно решен. Через год после диагноза (она училась в одиннадцатом классе) мама провела с ней беседу. Наверное, долго готовилась. Семья у Веры была старомодная, немножко викторианская. Если разговор ненароком принимал «взрослое» направление, мама всегда говорила: «Кое у кого уже ушки на макушке, сменим тему». И вот теперь, ужасно стесняясь, а в конце даже расплакавшись, мама стала втолковывать шестнадцатилетней дочери, как опасны в ее положении «ну ты сама понимаешь, какие излишества». «В эти самые минуты», краснея лепетала бедная мама, под воздействием «комплекса физиологических, нервных и эмоциональных факторов», особенно в момент «первого сексуального опыта», может произойти скачок давления, а это «нам» категорически противопоказано.

Беседа была ни к чему. За минувший год Вера стала взрослой. Не в *той* смысле, а в главном. Из дурочки, которая вздыхала над журналом «Космополитен» и пела в ванной «Папа-мама прости», она превратилась в человека думающего. Потому что всё время думала. Было о чём.

Например, о любви. У них в классе уже почти половина девчонок, как это называлось, «гуляли по-нормальному» и охотно про всё рассказывали. Вера же твердо знала: *этого* в ее жизни не будет. И опасность тут не при чем. В конце концов теми же йогами, у которых она училась целительному дыханию, разработана методика физической любви, при которой никакого скачка давления не бывает. Но дело не в сексе. Абы с кем валяться в постели она не станет, помешает внутренняя чистоплотность вкупе с маминым воспитанием. А по любви ей нельзя. Допустим, кто-то тебя полюбил, у вас настоящее счастье – вдруг ты бац, и помираешь. Вот это действительно кошмар. С тем, кого любишь, так поступить невозможно.

Нет – значит нет. В конце концов, жили в девятнадцатом веке монашки или старые девы без секса. Да и сейчас представления о всеобщем половом разгулье сильно преувеличены. Вера читала данные социологических опросов. У сорока двух процентов российских женщин в возрасте двадцати пяти – тридцати лет в «сексуальной биографии» (смешной термин) имеется только один партнер, а пятнадцать процентов вообще девственницы. И ничего. В мире столько всего радостного помимо «радостей плоти».

Например, дело, которому человек решает себя посвятить.

Свое призвание Вера нашла не то чтобы случайно – совсем не случайно, – но в то же время довольно неожиданно. Всё получилось не так, как планировалось.

К старым людям ее тянуло давно. Началось это вскоре после того, как в голове затикало взрывное устройство замедленного действия.

Морщины, седины, артритические пальцы, коричневые пятна на коже – все те атрибуты старости, которые обычным людям кажутся некрасивыми или даже отталкивающими, – Веру буквально завораживали. Далеко не сразу она догадалась, в чем причина этой obsessions. Всё, конечно, объяснялось очень просто. Она знала, что сама такой никогда не будет. Ее интриговала и манила недостижимость. Это была не зависть, скорее жадное любопытство.

Понятно, что учиться Вера пошла на врача. Когда столько времени проводишь в клиниках, на бесконечных обследованиях, не захочешь, а заинтересуешься медициной. При выборе специализации не колебалась: разумеется, геронтология, медико-биологическое изучение старости. Наверное, так же человек решает стать астрономом – всю жизнь изучать далекие планеты, отлично зная, что побывать там ему не суждено.

В первый же год ординатуры Веру послали на практику в провинциальный дом ветеранов. И стало ясно, что геронтологом в нашей стране быть невозможно. До тех пор, пока существуют такие вот домы. (Кстати, тот первый был не из худших. Встречались ей впоследствии варианты и пожестче.)

Стариков у нас нужно не изучать, их нужно спасать – с таким выводом вернулась потрясенная Вера в Москву после практики. Сначала думала поменять профессию: стать не ученым-геронтологом, а практиком-гериатром, специалистом по возрастным болезням. Но и этого показалось мало. Здесь надо помогать не отдельным больным, в помощи нуждаются сразу все. Сколько их, одиноких или брошенных детьми стариков, на пространстве от Балтики до Тихого океана? В российских домах престарелых, согласно статистике, содержится примерно четверть миллиона человек. И гораздо больше тех, кто доживает свой век дома, в нищете и одиночестве, заброшенный. Мало того что из-за бед отечественной истории у этих людей была невероятно тяжелая жизнь. Теперь, обессиленные и увядшие, они обречены на мучительное умирание, а государству и обществу наплевать! Вон у нас небоскребы, как грибы, растут, на московских улицах трутся боками тысячи лимузинов, а месячная пенсия такая, что не хватит на один ужин в нуворишском ресторане.

Будучи максималисткой, Вера и не подумала уstrasиться неподъемности груза, который собиралась на себя взвалить. В то время, если честно, она и не планировала ничего особенно масштабного. Захотела помочь жителям одного конкретного дома. Открыла в Интернете сайт «Счастливая старость», начала ездить в это самое Ладейкино с друзьями. Просто поговорить с людьми, которые никому больше не нужны. Что-то привезти. Помыть-починить-покрасить.

И сама не заметила, как дело задвигалось. Через год в движении «Счастливая старость» было несколько сотен волонтеров, в двадцати регионах страны. В базе данных у Веры собрались сведения о полусотне домов, и каждую неделю появлялась новая директория.

А потом объявился Берзин, и увлечение стало профессией. Диплом гериатра Вера получила, но к тому времени уже возглавляла фонд и знала, что врачом работать не будет. Жизненная цель определилась, и была она грандиозной.

Сколько успеет сделать, *пока не прорвет трубу*, Вера не высчитывала. Кто же это знает? Сколько сделаю, столько сделаю, думала она. Девиз у нее был: «Не усложняй простое, не упрощай сложное». Хороший девиз.

* * *

Вещи она развесила в спальне, в стенном шкафу. В другой комнате был письменный стол, поэтому Вера решила устроить там кабинет: включила ноутбук, наладила Wi-Fi, разложила книжки-бумажки. Назначение для третьей комнаты, самой большой, придумала не сразу. Там были кожаные кресла, большой телевизор. Но привычки смотреть передачи или видео у Веры не было. Жалко тратить на ерунду время, если его у тебя не так уж много.

Села на пружинистое сиденье, очень классное, покачалась. И решила: здесь будет Уединенный Храм Размышлений. Как у даосов. Ну не роскошь?

И немедленно начала уединенно размышлять. Суммировать первые впечатления, самые яркие.

Больше всего в голове засело то, что Люк сказал напоследок: «По французским стандартам, наш контингент очень молодой. Во французском *maison de retraite* средний возраст восемьдесят пять лет. Редко, если кто-то моложе восьмидесяти. А у нас – я подсчитал – средний возраст семьдесят два с половиной. Северный климат, люди раньше стареют».

А ведь правда! Мало того, что продолжительность жизни у нас чуть не на пятнадцать лет короче, так еще и стареют люди на десятилетие раньше. Климат тут ни при чем. Такие уж условия жизни, такое здравоохранение. При этом во «Временах года» ведь живут люди из самого благополучного класса, а что говорить про обитателей какого-нибудь Ладейкина.

Вторым по силе было впечатление тревожное и не совсем понятное. Контингент «Времен года» – те, кого Вера успела увидеть, – вызывал какое-то гнетущее ощущение. Не брюзжание гэбэшного полковника, не грубость номенклатурной дамы, не ругань политических антагонистов, не равнодушие «Сени» и «Жабы», не чокнутый «Муха» и даже не похабные шутки «Долли». Старые люди есть старые люди, с ними легко не бывает. Однако у нас в домветах старики, пускай несчастные и забытые, но... родные. Лучше слова не подберешь. А эти какие-то... неприятные?

«Не выдумывай, Коробейщикова, – одернула себя Вера, стоя перед зеркалом. – У каждого из них своя жизнь и своя правда. Ты должна их жалеть, потому что они старые и скоро умрут».

«А ты? – спросила из зеркала вторая Вера, расчесывая постылые, неподатливые кудряшки. – Тебя жалеть не надо?»

Меня не надо. Потому что я молодая.

Смотрела она на себя и думала, что с волосами все-таки нужно что-то решать. Слишком много волынки. Коротко стричь пробовала, еще в одиннадцатом классе. Получилось черт-те что, *Egipaseus eugoraеus* – ёж обыкновенный. А если снять всё в ноль? По крайней мере альфа-самцы отстанут. Она представила себя Фантомасом, прыснула.

Перед зеркалом Вера оказалась, потому что в шесть должен позвонить Берзин, по скайпу. Он обожал всякие технические новинки и гаджеты. Ну что, казалось бы, просто не поговорить по телефону? Нет, по скайпу и не иначе. А появится какой-нибудь другой способ коммуникации, про скайп и не вспомнит. Берзин, как коршун, выглядывает всё новое и сразу падает на цель камнем.

Так в прошлом году упал он и на Веру с ее волонтерским движением. Высмотрел в интернете, взял на заметку, провел «ризёрч» (обожает иностранные термины), скалькулировал потенциал и перспективы (тоже один из его любимых оборотов).

Когда она шла на первую встречу к нему в офис, думала, еще один богатеи расчувствовался, умилился на девочек-мальчиков, скажет «молодцы, ребята» и сделает спонсорский взнос. Один пожилой дяденька-банкир незадолго перед тем, жертвуя тысячу у. е., похвалил Веру, что она «возрождает тимуровское движение». Пришлось потом гуглить, что за движение такое.

Но молодой блондин с идеальным пробором (кто сейчас носит проборы кроме законченных уродов?) приятных слов не говорил, а только назадал кучу вопросов, очень конкретных. Будто экзаменовал студентку или, вернее, требовал отчета у клерка. Кто он, собственно такой, этот Станислав Берзин, и чем зарабатывает на часы «ролекс», Вера тогда не особенно представляла. Да и сейчас, честно говоря, не очень. Деловые и общественные интересы Славы Берзина были обширны. От импорта электроники до издания глянцевого периодики, от Клуба филокартистов до Общества помощи ветеранам. Его интерес к ветеранской проблеме и стал причиной встречи – или, как выразился Слава, «зарифмовался» с движением «Счастливая старость».

Не сказать, чтоб этот хозяин жизни Вере по первому впечатлению понравился. Она таких нахрапистых, саблезубых не жаловала.

Подытожил первую, допросную часть беседы Берзин весьма загадочной фразой.

– Короче, ясно, – сказал он, энергично потирая ладони. – Задумка ломовая, апроуч классный. Но дело надо строить по-взрослому. Будем превращать наши эм-жэ-пэ в нормальные эм-дэ-эр.

Вера переспросила. Он расшифровал, но понятней не стало:

– Я говорю, надо создавать мезон-де-ретреты, хорош позориться с богадельнями типа «Мыли-жопы-пожилым».

– Что?

– «Мезон-де-ретрет» – это дом престарелых французской системы, она лучшая в мире. А «мылижопыпожилым» это, если ты не поняла, палиндром.

И засмеялся, а Вера, хоть и покривилась, но подумала: надо же, слово «палиндром» знает. Не совсем одноклеточный.

Станислав Берзин оказался совсем, совсем не одноклеточный. Просто, на Верин вкус, чересчур разухабист на язык. Со временем она, правда, его немножко выдрессировала. При ней Слава старался до некоторой степени придерживаться лексическую бойкость. Кстати говоря, «Славой» его называла только она – все остальные обращались к нему «Стас», но ей это имя не нравилось. Точно так же ему не нравилось имя «Вера», и он единственный из знакомых, несмотря на протесты, звал ее Никой.

Берзин, конечно, был архетипический альфа-самец, со всеми полагающимися повадками. Вначале продемонстрировал Вере окрас, пораздувал щеки, поколотил кулаками по грудной клетке, но быстро отъехал, поняв, что на этой платформе отношений не построит. При всех своих лакированных проборах и золотых «ролексах» парень он был умный, схватывал на лету. Вера надеялась, что сумела завоевать его уважение, заставила увидеть в ней личность. Что скрывать – лестно, когда человек такого размаха обращается с тобой как с равной, с соратницей.

А размаха у Славы хватало. Устройство у него было принципиально иное, чем у Веры. Она всегда видела сначала частность, конкретный случай, и приступала к делу, не строя больших планов. Берзин же, по его собственному выражению, мог разглядеть в капле воды океан.

Проект, участвовать в котором он предложил Вере и ее друзьям-волонтерам, был рассчитан на годы и безусловно отдавал гигантоманией, но в Славиных устах звучал как внятная и вполне осуществимая бизнес-идея.

Берзин давно уже собирался создать сеть российских мезон-де-ретретов, но ему не хватало команды с «мощным драйвом, классным имиджем и крутым слоганом». Всё это, по его словам, он увидел в Вере Коробейшикове и ее движении «Счастливая старость».

Идея Берзина была не филантропическая, а сугубо коммерческая, поэтому Вера не сразу согласилась участвовать. В конце концов убедил, увлёл.

По плану первый этап назывался «Столичным».

– Начнем с Москвы, – говорил Берзин. – Сюда вся страна смотрит, на ус наматывает. И бабок с бабками здесь больше. В смысле, бабуль-дедуль с деньгами.

По его данным, в настоящее время в столичном регионе имелось порядка пятидесяти тысяч потенциальных клиентов, финансово готовых переселиться в специально обустроенные резиденции класса «премиум». Это бабушки-дедушки или папы-мамы верхней прослойки среднего класса.

– Куда девать состарившихся предков – реальная проблема для хреновой тучи хорошо зарабатывающих москвичей. Нужен уход, комфорт, медобслуживание. Со всем этим у нас полный голяк. Отправлять за границу для мидл-класса слишком дорого, и мало кто из стариков хочет уезжать из своей страны, от внуков, от знакомых. Но если у нас появятся мезон-де-ретреты, куда селить родичей не стыдно, а наоборот, престижно, народ повалит стройными колоннами.

Второй, еще более обширной категорией потенциальных клиентов (не менее ста тысяч человек) Берзин считал одиноких стариков, владельцев собственных квартир. Сейчас вокруг таких роятся всякие проходимцы, обещая пожизненное содержание и уход в обмен на завещание жилплощади. Полным-полно злоупотреблений, даже преступлений. А надо, чтобы пенсионер в обмен на квартиру получал гарантированный люксовый уход. Так сказать, резкое повышение социального статуса и уровня жизни. Средняя московская квартира тянет на триста тысяч баксов. На такие деньги человека можно содержать в хороших, абсолютно европейских условиях десять, а то и пятнадцать лет. У нас старики, которые нуждаются в уходе, столько не живут.

Если с первой категорией главная проблема – убедить публику в престижности мезон-де-ретретов, то у второй категории нужно завоевать доверие. «Народ привык, что его без конца кидают и никому не верит, причем правильно делает», – говорил Слава.

Для обмена недвижимости на пожизненное содержание в «мезоне» (ради краткости и удобопроизносимости он предлагал французский термин укоротить) следует создать систему банков, которые будут оплачивать содержание клиентов, отвечая всеми своими авуарами. При этом сумма, вырученная за проданную квартиру, до кончины клиента останется на эскроу-аккаунте, то есть на счете, распоряжаться которым по собственному усмотрению банк не сможет. На самом деле, такой счет будет не один; деньги разместят в разных банках системы «пакетами» по 700 тысяч, чтобы в случае краха сумма стопроцентно компенсировалась государственным страхованием. Таким образом, гарантии железные. Надо только как следует это разъяснить пенсионерам.

Для выполнения обеих этих пиар задач Берзину и понадобилась Вера. Он преобразовал неформальное объединение «Счастливая старость» в некоммерческий фонд с тем же названием. На первое время цель ставилась одна: повышать рейтинг общественного доверия и градус «паблик-авэрнес» (с трудом Вера убедила Берзина отказаться от этого чудовищного американизма в пользу «общественного внимания»). Через пару лет, закончив волокиту с земельными участками и отстроив первые показательные «мезоны», Берзин рассчитывал приступить ко второму этапу: пилотной «рекрут-кампании». Потом будет третий этап, четвертый, пятый. Но так далеко Вера мыслями не заносилась. У нее в этом гигантском проекте была своя собственная задача: следить, чтобы стариков не обманули. Статус начальницы Фонда давал ей все необходимые права и полномочия. Была и сверхзадача: создать правильную модель дома престарелых, которой потом смогут следовать и государственные заведения. Проблема ведь не только в финансировании. Иногда и средства выделяются, теми же спонсорами, да никто толком не знает, каким должен быть современный домвет. Нет ни специалистов, ни архитектурных проектов, ни нормального оборудования. Сплошная кустарщина.

Одним из условий, на которых Вера согласилась работать в Фонде, была годовая стажировка во Франции. А как иначе? Нужно досконально знать систему, в правильности которой собираешься убеждать людей.

Берзин считал, что год многовато, но в конце концов уступил. Резиденцию «Времена года» предложил он – видимо, нормандский русскоязычный мезон-де-ретрет давно уже был у него на примете.

Ровно в шесть по-московскому времени компьютер запищал, вызывая Веру на сеанс связи.

Слава никогда не здоровался, считал эти формальности сотрясением воздуха. Судя по ацтекской маске на стене, говорил он из своего кабинета. Сидел в белой рубашке с распушенным галстуком, без пиджака.

– Хорошо выглядишь. Тебе идет, когда волосы расчесываешь. Ну что «Времена года»? Устраивает как вариант?

– Там видно будет, – мрачно ответила Вера.

Неужели она распустила свою проволоку из-за разговора по скайпу? Сделала это инстинктивно, не задумываясь. Почему? Ведь Берзин ей даже не нравится!

– Лучше бы я приехала в обычный французский мезон. В типичный, а не эксклюзивный с этническим уклоном, – тем же сварливым тоном продолжила она.

– Ничего не лучше. У нас на первом этапе контингент будет примерно такой же, привыкай. Ну, может, чуть-чуть попроще. Ладно, не бери в голову. Не покатит – переправим тебя в «Лазурную деревню». Это под Ниццей такая люкс-деревня для старых буржуев... Слушай, я чего хотел сказать, у меня по телевизионным делам подвижка есть, важная. Помнишь, я тебе гнал про лицо проекта?

Да, что-то такое было. Он говорил, что у всякого общественного движения должно быть «витринное лицо», вызывающее у публики правильную реакцию, и что создать такую фигуру можно только посредством телевидения.

– Я подавал концепт-заявку. Ток-шоу для аудитории пенсионного возраста «Сердце не стареет». Не рассказывал? Забыл, наверно. Короче, они клюнули. Особенно, когда я сказал, что предлагаю ведущей Веронику Коробейщикову из движения «Счастливая старость». Уау, говорят, круто. Сейчас интернет-фигуры в моде. Особенно у кого внешние данные.

– Это еще что за новости?! – вскинулась она. – Во-первых, никогда не поверю, что ты забыл мне про такое сказать...

– Ну о'кей, не забыл. Просто не хотел зря болтать, пока не срастется.

– Во-вторых, что за пошлое название «Сердце не стареет»? В-третьих, с чего ты взял, что я буду светиться в зомбоящике?!

Берзин погрозил с монитора пальцем:

– Зомбирование – то, что нам нужно. Тебя должны узнать и полюбить пенсионеры всей страны. Привыкнуть к тебе. Мысленно увнучерить. Чтоб когда ты станешь приглашать их в наши «мезоны», старики охотно пошли. Когда на втором этапе я запущу рекламные ролики нашей банковской системы, твое лицо поможет пробить барьер недоверия. Ника, золото мое, мы затеяли большое дело. Дилетантские времена кончились. Ты веришь в наш проект?

– Ну, верю...

– Тогда работай на него, ёлки. Не тормози!

Проклятый Берзин снова был прав. Умом Вера это понимала. Конечно, телепередача, в которой можно на всю страну говорить о проблеме стариков, это здорово. Поможет и фонду, и доветам, и будущим планам. Но превратиться в телеведущую?

– Я приехала на стажировку, если ты забыл. На целый год, – сказала она упавшим голосом.

– Нормально. Эта телега быстро не едет. В следующий сезон мы все равно не попадаем, май уже. Осенью начнем предпродакшн без тебя. Может, раза три-четыре прилетишь на пробыв-консультации. А как раз через год вернешься и войдешь по-плотному. Ты же умная, Ника. Сама соображай, сколько нам будет пользы. Думаешь, легко было телевизионную шоблу продать? Ну, короче, всё. Доехала, поселилась, про тэвэ я тебе сказал.

И рассоединился. Как обычно, без «до свидания», почти на полуслове. Иногда Вере казалось, что он всякий раз торопится закончить с ней разговор. И в глаза почти никогда не смотрит, только мельком, на секунду.

Но это потому что у него обычно перед носом густо исписанный ежедневник, и Слава, даже если что-то говорит, в нем постоянно чиркает. На каждый разговор, она знала, у Берзина отведено столько-то минут. Сказал-услышал, что было нужно, и гуд-бай.

* * *

Вечером, обустроившись на новом месте и отправив первые мейлы друзьям, она решила спуститься в кафе, а потом прогуляться по парку, пофотографировать. Май месяц, до десяти светло.

Вышла в коридор, взглянула на соседнюю дверь, за которой, стало быть, лежала в коме основательница заведения.

Створка была приоткрыта. Монотонный голос, бубнил что-то по-французски. Заинтригованная, Вера подошла.

– La commission chargée de la préparation du plan comprend dix membres choisis pour leurs connaissances sur cette maladie. Elle s'appuie sur le travail de huit groupes d'experts, chaque groupe ayant son thème spécifique,⁷ – безо всякого выражения, без смысловых пауз говорил, а скорее всего читал вслух кто-то писклявый, не поймешь мужчина или женщина.

Статья из медицинского журнала, что-то о комиссии французского минздрава по изучению болезни Альцгеймера, вскоре поняла Вера. Зачем это? И главное, для кого? Стало любопытно. В конце концов, соседи. Будет нормально заглянуть, познакомиться.

Она постучала.

Голос продолжал читать.

Не слышит.

Постучала громче – то же самое.

Тогда Вера приоткрыла дверь.

– Можно?

Увидела большую комнату, нечто среднее между кабинетом и лабораторией. Вдоль одной стены, обшитой дубом, три письменных стола с папками, допотопным компьютером, бумагами. Вдоль другой – длинная кафельная панель с микроскопами, колбами, пробирками. Две остальные стены сплошь в книжных полках, а в зазорах между ними много обрамленных фотокарточек разного размера. Но всю эту периферию Вера особо не разглядывала, потому что посередине помещения стояла больничная кровать, а на ней, под капельницей, лежала мумия.

Горевшая на тумбочке лампа освещала иссохшее пергаментное лицо в глубоченных морщинах, с торчащим носом, с ввалившимися глазами. Рот скошен, край губы безвольно отвис. Шея перехвачена чем-то вроде пластмассового ошейника, из-под которого торчит трубка с клапаном – это чтоб больная могла дышать прямо через трахею. Неприятней всего было смотреть на синеватые вены, змеившиеся по бритому черепу.

И вообще вид палаты показался Вере зловещим – из-за полумрака, из-за помигивания датчиков, а в особенности из-за сутулой фигуры, не поднявшей головы от журнала.

Судя по форменной куртке, это был санитар или медбрат. Он сидел боком к двери и не мог не заметить, что кто-то вошел, но не повернулся и чтения не прервал.

– «...Les appareils de surveillance aussi se sont modifiés...»,⁸ – бубнил чтец.

Вера перешла на французский:

– Извините за вторжение. Я стажер из России, меня зовут Вероника. Буду жить по соседству...

Никакой реакции.

⁷ Комиссия, которой получена разработка плана, состоит из десяти членов, ведущих специалистов по данному заболеванию. В своей работе комиссия опирается на исследования восьми групп экспертов, каждая из которых занимается своим специфическим направлением (фр.).

⁸ ...модернизируется и аппаратура наблюдения... (фр.).

Человек вообще-то был странноватый. В толстых очках, с зачесанными назад жидкими волосами. Тонкой шее слишком широк воротник.

– Он не ответит, – сказал сзади мягкий голос.

Немолодая полная женщина, тоже в голубой куртке, с табличкой «МАРИНА» на груди, стояла в дверях, дружелюбно улыбалась.

– Я Марина Васильевна, старшая сестра. Я из Риги. А вы стажерка из Москвы, знаю.

Поздоровались, пожали руки.

– Он слабослышащий? – спросила Вера. Она приучила себя не употреблять слов типа «глухой», «слепой», «инвалид».

– Синдром Аспергера. Аутист. Иногда реагирует на внешние раздражители, но нечасто. Нужно дотронуться до плеча.

Марина Васильевна подошла к чтецу, ласково положила руку ему на рукав. Он медленно повернул голову.

– *Эмэн, алле динэ. Вентёр трант. Мадам ва манжэ осси,*⁹ – отчетливо выговорила она с сильным акцентом и показала на капельницу.

У больной чуть дрогнуло восковое веко. Аутист выдернул рукав, наклонился над кроватью и вдруг положил «восковой персоне» ладонь на лицо. Сестра, как ни в чем не бывало, занялась привычным делом: проверила показатели приборов, поправила подушку и одеяло, поменяла содержимое наполнителя.

– У нас по социальной квоте в штате должно быть две *персон андикане*.¹⁰ – Рассказывая, сестра протирала ароматической салфеткой костлявые плечи больной, впалую грудь, потом лицо. Под одеялом старуха была совсем голая. – Еще есть Жиль, у него синдром Дауна. Жиль работает в саду, любит цветы, у него неплохо получается. С Эмэном труднее. Не то чтоб труднее, он тихий, проблем не создает. Он у нас очень давно, даже не знаю, сколько лет. Единственное, что ему нравится, это сидеть с утра до вечера возле мадам и читать медицинские журналы. На него хорошо действует.

– А на нее? Ничего, что он ее за лицо трогает?

– Ей все равно. – Марина Васильевна пожала плечами. – Ее давным-давно нет. Одно бедное старое тело, в котором никак не остановится сердце. Вот я у батюшки, у отца Леонида спрашивала. – Она остановилась с салфеткой в руке. – Где пребывает душа у таких, как Мадам? Разлучилась она с телом или нет? Не знаю, говорит, это одному Господу ведомо... *Эмэн, лё тан,* – снова показала она на часы. – *Тан де динэ.*¹¹ Он у нас пунктуальный, всё по часам. Ест точно в одно и то же время. На ужин обязательно сосиску с горошком. Сосиска должна лежать слева, горошек справа. При этом сразу, с первого взгляда видит, если горошин больше или меньше, чем вчера. Лишние откладывает, а если недостача, стучит ложкой. *Алле, алле.* Опоздаешь. «Эмэн» – это его инициалы, М.Н. По-другому не отзывается. Да и на инициалы-то не всегда...

По-прежнему не обращая внимания на Веру, Эмэн медленно встал, спрятал журнал («Вестник нейробиологии») в карман. По идеально прямой линии, едва не задев Марину Васильевну локтем, прошепствовал к двери. Походка у него была, как у Железного Дровосека.

Слушать говорливую медсестру было интересно, но всё время смотреть на мумию в кровати-саркофаге не хотелось, поэтому Вера немного прошлась по комнате.

Стол выглядел, словно ностальгическая экспозиция оргтехники из середины девяностых. 386-ой компьютер, поди еще с «Нортоном» (Вере такой купили в третьем классе), смешной

⁹ Эмэн, идите ужинать. Половина девятого. Мадам сейчас тоже будет кушать (*фр.*).

¹⁰ Инвалид (*фр.*).

¹¹ Эмэн, время. Пора ужинать (*фр.*).

игольчатый принтер, монитор с защитным экраном, громоздкий факс. Всё это по нынешним временам уже винтаж, объекты коллекционирования.

А фотографии на стенах – вообще из глубин истории. Какие-то мужчины и женщины с лицами, которых больше не бывает. Шляпки, пиджаки с квадратными плечами, кто-то картинно раскинулся в гамаке. Улица старого города, по виду русского, но почему-то с иероглифами на вывесках. Красавец-брюнет, похожий на Хью Гранта, с деревянной теннисной ракеткой, в белом костюме.

Будто окошки, через которые можно подглядеть внутрь заколоченного дома, ключ от которого навсегда потерян. Чужая жизнь, чужое время.

Одна карточка не похожа на другие. Не домашняя сцена, не портрет, а что-то политическое: по улице идет толпа с флагами и транспарантами. Это-то здесь зачем?

– Она что, какая-нибудь революционерка была? – спросила Вера и сама поняла, что смо-
розила глупость.

Старуха, конечно, почтенного возраста, но не до такой же степени.

– Сколько ей было... ну то есть, сколько ей лет, не знаете?

Марина Васильевна ответила:

– Знаю. Легко было запомнить, она того же года рождения, что мой дедушка. Тысяча девятьсот пятого.

Ого! Сто пять лет человек на свете живет! Ну, *жила*-то она, строго говоря, девяносто, дальнейшее не считается, но всё равно – живая история. Точнее, полуживая, подумала Вера и одернула себя. Это был юмор дурного тона, стыдный.

– А звали ее как? Наверное, у нее было имя, отчество?

Она же русская.

Старшая медсестра немного подумала.

– Насчет отчества не знаю. Не уверена, что в карточке оно вообще указано. Может, я не обратила внимание. А имя у неё... Александра. Нет, вру, Александрина. Точно Александрина. Как в песне.

Приятным хрипловатым голосом Марина Васильевна запела, протирая неподвижное лицо живой покойницы: «Александри-ина, уже пришла зима».

Это я

Сегодня опять приснилась смерть. Она освежила мне лицо своим благоуханным дыханием, позвала по имени, сказала, что однажды наступит зима и мне можно будет уйти, потому что всё наконец исполнится. У смерти был голос Ивана Ивановича – высокий, чуть хриплый. Лицо тоже его, мягко-улыбчивое, покойное. Глаза незрячие, но при этом не слепые. Я знаю: это из-за того, что их взгляд обращен не вовне, а внутрь. У меня такой же.

Я размыкаю ресницы, утешительный сон улетает. Сейчас я перестану что-либо видеть, но, как всякий раз перед пробуждением, на миг возникает близко придвинувшаяся физиономия Мангуста. Она вся подергивается, губы кривятся, шепчут: «Помогите мне, а я помогу вам. Иначе будете мучиться долгие годы – у вас крепкое сердце и превосходные легкие... Не хотите? Ну так любуйтесь!» В зеркале появляется жуткое скособоченное лицо со стекающей по щеке слюной, бритым лбом, горящими глазами. Это последняя картина, которую я видела наяву перед тем, как ослепнуть. Она, как и гримасы Мангуста, мучает меня все эти годы.

После ритуального явления маски ужаса я, как обычно, просыпаюсь.

Не устаю поражаться, до чего же цепка память тела. Оно хочет потянуться со сна, повернуть голову, вздохнуть полной грудью – и никак не может смириться с тем, что ничего этого больше не будет. Но потом включается мозг, приказывает панике утомиться. Всё нормально, всё как всегда. И тут начинается настоящее пробуждение – не такое, как у нормальных людей.

Из обыкновенных органов чувств в моем распоряжении остались только слух с обонянием, и оба невероятно обострились. Я могу слышать, как стучит сердце у дежурной медсестры, меняющей капельницу; как потирает лапки муха; как легкий сквозняк гонит по полу пушинку. Мой нос безошибочно определяет начало и конец цветения растений за окном, время суток (оказывается, ночь и день пахнут по-разному), индивидуальный аромат каждого человека, кто входит в палату.

Я, разумеется, знала и прежде о законе физиологии, согласно которому кора мозга, в силу своей чрезвычайной пластичности, при блокаде одних сигналов восприятия со временем переориентируется на другие. Когда я лишилась зрительных, вкусовых и, частично, тактильных источников информации об окружающем мире, у меня гипертрофически развились оставшиеся органы чувств. Помню, как в университете нам демонстрировали схему мозга слепого человека, где участок слуха разросся и отчасти распространился на зоны, ранее занятые зрительной корой.

Однако меня никто не учил, что у человека в длительной псевдокоме может развиваться еще один орган чувств, не имеющий научного названия, потому что о нем, вероятно, знают только больные, попавшие в мое положение, а они лишены возможности что-либо рассказать. Судя по всему, я еще и от природы обладала какими-то особыми качествами, которые в обычных обстоятельствах не получили бы развития, а тут, из-за вынужденной мобилизации всех ресурсов мозга, были вынуждены эволюционировать.

Недаром же Иван Иванович однажды, взяв меня за руку, вдруг спросил, останавливаются ли на мне часы. Удивившись, я ответила: да, останавливаются. Потому я их и не ношу: походят недельку-другую, и можно нести в ремонт. Он кивнул: «И колец золотых не носи – изогнутся или лопнут, потому что в тебе *обослух* сильный, и если будешь его развивать, то научишься, как я, *обослышать* масть всякой твари».

Когда Иван Иванович не мог найти нужное слово, чтобы объяснить какое-то явление или понятие, он с легкостью изобретал новое – по китайскому принципу словообразования, соединяющему два разных иероглифа. Так из «обоняния» и «слуха» у него сложился нелепый «обослух». Даже удивительно, что этот тончайший ум был так нечувствителен к языку. Кстати говоря, использованный им термин «масть» тоже неудачен. Масть – это оттенок окраса,

регистрируемый глазами, а свойство, которое имел в виду Иван Иванович, к зрению никакого отношения не имеет. Полагаю, что у человека зрячего *обослух* вообще развиваться не может. Это некий рудиментарный орган чувств, который у здоровых остается невостребованным или вообще отсутствует. Для развития *обослуха* требуется комбинация специфических обстоятельств: отключение других органов чувств, прежде всего зрения, и высокая интенсивность биоэнергетического поля, как у меня. Последнее, кстати говоря, встречается не столь уж редко.

Много лет назад, объясняя про *обослух* и *масть*, Иван Иванович что-то говорил о «нимбе», окружающем всякое живое существо и даже некоторые неживые предметы. К сожалению, я многое пропускала мимо ушей – мои ум и сердце были заняты другими заботами. Сколько раз в последующей своей жизни я сокрушалась, что невнимательно слушала этого человека! Он оставил мне много нераскрытых или недораскрытых загадок. На решение одних у меня ушли годы и десятилетия; другие так и остались неразгаданными. Много я просто забыла.

Про *обослух*, например, я вспомнила на второй или третий год своего плена, когда вдруг начала ощущать людей каким-то новым органом чувств, которым не владела раньше. Сестры, врачи, санитарки, каждый на собственный лад, источали некое излучение, совершенно индивидуальное и неповторимое. Я не сразу научилась его расшифровывать, но потом оно стало сообщать мне о человеке гораздо больше, чем прежде зрение. Через несколько лет я начала чувствовать цветы, растущие в горшках на подоконнике. Эту новообетенную способность я назвала «биорецепцией», а излучение, исходящее от живых организмов, «биоэманацией». Теперь я понимаю, что имел в виду Иван Иванович, когда заявлял, будто видит лучше зрячего.

Вот интереснейшая тема, до сих пор не изученная наукой. Моей жизни на нее, увы, не хватило. Биоэманацию и биорецепцию я для себя открыла, когда поделиться этим открытием было уже невозможно.

Просыпаюсь, как обычно: вслушиваюсь, внюхиваюсь, но больше полагаюсь на биорецепцию – она у меня развита еще лучше, чем слух и обоняние. Благодаря ей, я ощущаю даже тех, кто находится за пределами моей палаты. К сожалению, у меня нет возможности установить, на какую именно дистанцию распространяется моя чуткость. Полагаю, на несколько десятков метров, и стены с межэтажными перекрытиями ей не помеха.

По привычке определяю: Мангуст на том же отдалении. Не приблизился и не исчез. Его эманация еле ощутима, но она не дает мне расслабиться. Такое ощущение, что Мангуст уже который год терпеливо сидит в засаде, выжидая удобного момента для новой атаки. Как же я была слепа, когда мои глаза еще видели! Я прозвала его Мангустром за пушистую ласковость манер и быстроту движений. Во время одной из наших последних встреч он сказал мне, уже беспомощной: «Думаете, я не знаю, как вы называете меня за спиной? Для вас я не человек – мангуст. А вы, мадам, кобра. Мангуст всегда побеждает кобру. Я победил вас!» И острые глазки сверкнули торжеством.

Итак, Мангуст по-прежнему где-то на недалекой периферии.

Пятницы поблизости нет.

В палате две женщины. Одна – старшая медсестра Марина Васильевна, она ходит ко мне уже несколько месяцев. Я понятия не имею, какого цвета у нее волосы и глаза, какова форма носа, но зато знаю многое, чего не заметит самый проницательный наблюдатель. Эта женщину снедает внутреннее нетерпение, ей хочется поскорее отсюда уехать – дома, в Риге, ее очень ждут; недавно она вступила в начальный период менопаузы и мучается приливами; она добрая и дисциплинированная; у нее в правом боку источник опасной болезни, которая пока еще не дала себя знать. Если б могла, я бы сказала ей: нужно срочно сделать эхографию и анализы. Но я ничем не помогу этой славной женщине с мягкими руками, заботливость

которых ощущает даже моя полумертвая кожа. Я просила Пятницу предупредить ее, но он мою просьбу проигнорировал, а если б и передал, Марина Васильевна вряд ли бы поверила.

Вторая женщина совсем молодая, еще девочка, ей не больше двадцати пяти. Она здесь впервые. Голос веселый, мелодичный. Удивительно в таком возрасте – нет запаха духов, только мыло, шампунь, зубная паста. Еще бензин, дорожная пыль. Недавно девочка сидела или лежала на траве. Излучение в целом чистое, свежее, очень приятное. Хотя... Что за странная, смутно знакомая волна? Я не могу точно сформулировать это ощущение, но у меня с девочкой (она представилась медсестре Вероникой) есть что-то общее. Несомненно есть.

Мои биорецепторы, отточенные многолетней практикой, довольно часто улавливают нечто совсем уж глубинное, не сразу понятное мне самой. Я – обтянутый ветхой кожей лока-тор, который всасывает из окружающего мира информацию, требующую обработки.

Возможно, девочка Вероника – моя дальняя родственница, и я реагирую на сходный набор генов. Это меня не удивило бы.

Когда-то давно я прочитала статью, объясняющую пресловутое чувство Родины сугубо физиологическими причинами. Человек, чья семья давно проживает в некоей местности, со всех сторон окружен родственниками, имеющими похожий набор генов и это якобы создает комфортный энергетический фон. При этом, начиная с четвертой или даже третьей степени родства, мы обычно утрачиваем семейные связи и не догадываемся, как много вокруг людей, имеющих одинакового с нами предка. Если я правильно запомнила цифры, 20 % представителей одной национальности родственны друг другу в шестой степени, 40 % – в восьмой степени, и чуть ли не 90 % – в двенадцатой. Очень возможно, что у меня с новенькой русской какая-нибудь общая прапрабабушка. Если так, это не имеет значения.

В моем мире только две фигуры имеют значение: Мангуст и Пятница. Но первый всё ведет свою затяжную осаду, а второго поблизости нет.

Я перестаю обращать внимание на женщин, я терпеливо жду, когда появится Пятница.

Пока он ко мне не прибил, я, жертва кораблекрушения, существовала на своем острове в полном одиночестве. Совсем как Робинзон Крузо, только без собаки, кошки и попугая, который кричал бы «бедный Робин!». Человечество на моем острове было представлено только каннибальским присутствием затаившегося Мангуста. Потом мы с Пятницей нашли друг друга, и сиротство кончилось. Я перестала разговаривать исключительно сама с собой.

Мой спутник – такой же дикарь, как персонаж романа Дефо, даже еще больший. Мы долго учились объясняться между собой и достигли лишь частичного взаимопонимания. Прозвище «Пятница» ему не очень-то подходит. Аутисты не дикари, скорей они похожи на инопланетян. Они общаются с внешним миром по каким-то другим каналам. Не понимают то, что очевидно всем, зато знают вещи, которых никто не видит. Мой Пятница, в отличие от дипломированных медиков, каким-то образом сразу догадался, что я – не «овощ».

Это было двенадцать лет назад. Дежурная медсестра заговорила с кем-то, кто вошел в палату. Сначала я решила, что с ребенком. Потом поняла: нет, это человек с тяжелой умственной отсталостью, к тому же немой. На вопросы сестры он не отвечал, на обращение не отзывался. Мои биорецепторные способности в ту пору были еще слабо развиты, иначе я уловила бы особенность его излучения, которое не спутаешь с эманацией обычного человека. Когда сестру куда-то вызвали, предполагаемый немой сел рядом с кроватью, положил ладонь мне на глаза. Мышцы век – единственная часть моего тела, над которой я сохранила контроль. В состоянии, подобном моему моторные функции век и зрение обычно сохраняются. Но видеть к тому времени я уже перестала, от попыток привлечь внимание окружающих движением век давным-давно отказалась. Сама не знаю, почему яотреагировала трепетом ресниц на неожиданное прикосновение – должно быть, рефлекторно. И вдруг слышу: «Рыбка, поговори с Эмэном. Чего хочет рыбка?».

Много позднее, из разговора медсестер, я узнала, что на первом этаже, в холле, стоит большой аквариум (при мне его не было) и Пятница часами глазееет на рыбок. Очевидно шевеление моих ресниц напомнило ему движение рыбьих плавников.

Прошло очень много времени, прежде чем мы с ним разработали язык ресниц. Сначала это были совсем простые вещи. Три быстрых движения левым веком означали «мне холодно». Правое, левое, снова правое – «муха» (кожа на моем скальпе не утратила чувствительности, и одно из постоянных мучений – ползающая по голове муха). Еще несколько таких же элементарных просьб. Использовать слоговую азбуку додумался Пятница. Монотонно, еле слышно он гундосит разные слоги: ка, мо, ре, на, ди... – и я моргаю, когда он доходит до нужного. Такой разговор занимает очень много времени, но мы с Пятницей могли бы стать чемпионами мира на соревнованиях по терпеливости. Нам обоим торопиться некуда. К тому же у него какое-то особенное чутье, или же мы успели сродниться: очень часто он с первого же слога угадывает всё слово и тогда бормочет его, а я подтверждаю правильность медленным движением век.

Аутизм – вот еще одна тайна природы, еще одна захватывающе интересная тема исследования, на которое мне не хватило времени. Целых полвека потратила я на одну-единственную из всех бесчисленных загадок человеческого устройства, и ту не раскрыла до самого конца. Так долго прожила и так мало успела...

Без моего собеседника я давно лишилась бы рассудка – как Робинзон свихнулся бы без Пятницы. Первые три года изоляции, до его появления, были невыносимо тяжелы. Сны начинали путаться с явью и постепенно вытеснять ее. Думаю, еще полгода-год, и мой мозг утратил бы способность к рациональному мышлению. Но когда ладонь другого человека легла на мое лицо, всё переменялось. Крышка наглухо заколоченного гроба приподнялась. Дохнуло воздухом, забрезжил свет – свет надежды. Пусть не на исцеление, но на освобождение.

Исцеление при моем диагнозе невозможно, это я как специалист хорошо знаю. Со мной случилось самое страшное, что только может произойти с человеком. В детстве я с ужасом читала про старика Нуартье, вынужденного общаться с людьми посредством моргания, и не ведала, что Нуартье – счастливец. Люди знали, что он в сознании. Когда по реакциям больного понятно, что он реагирует на окружающее, это еще не самая тяжелая форма церебромедулло-спинальной дисконнекции, то есть паралича всего тела. При полной коме человек впадает в вегетативное состояние и сознание у него отключается, но если не работают только ствол и нижняя часть мозга, а верхняя часть продолжает функционировать, больной утрачивает способность двигаться, сохраняя при этом мыслительную и эмоциональную функции. Это состояние в российской медицине называется «псевдокома», в мире чаще употребляется английский термин – «locked-in syn-drome¹²», но выразительней всего французское наименование: «maladie de l'emmuré vivant¹³».

Когда я вышла из бессознательного состояния и попыталась произвести самодиагноз, то первоначально пришла к выводу, что удар случился вследствие естественной закупорки базилярной артерии – у меня там небольшая врожденная аневризма, которая не вызывала особых опасений. Один шанс из миллиона, что при моем превосходном кровяном давлении она могла разорваться или что в этом месте образовался бы спонтанный тромб. Последнее, по всем симптомам, и произошло. Причиной локд-ин-синдрома чаще всего становится именно тромбоз базилярной артерии. Живую часть мозга, где сосредоточены мысли и чувства, то есть собственно человеческая личность, замуровывает омертвевшая, лишенная кровоснабжения ткань.

¹² Синдром запертого ключа (англ.).

¹³ Болезнь заживо погребенного (фр.).

Насколько я помню, девяносто процентов «заживо погребенных» умирают в течение первых 4 месяцев. Восемьдесят процентов остальных – в течение года-полтора. Но те, у кого здоровое сердце и сильные легкие, могут протянуть при хорошем уходе очень долго. Мои пятнадцать лет – не рекорд. Еще одно важное условие живучести: ни в коем случае нельзя себя жалеть, иначе быстро произойдет разрушение личности. Однако искусству относиться к своим бедам без сантиментов жизнь научила меня давно.

Я никогда специально не занималась проблемами церебромедуллоспинальной дисконекции, и теперь я знаю про локд-ин гораздо больше, чем в начале... чуть было не сказала «моего крестного пути», но нет, нет, никакой жалости – *чем в начале моей болезни*. Дело в том, что Пятница читает мне от корки до корки все журналы по нейробиологии, нейрофизиологии, нейрохирургии. Вряд ли он делает это потому, что я его когда-то попросила (ах, если бы он выполнял все мои просьбы!). Чтение медицинских статей отчего-то доставляет ему удовольствие.

Случись со мной эта беда парой лет позже, у меня было бы больше шансов достучаться до людей из своей гробницы. В 1997 году редактор журнала «Elle» Жан-Доминик Боби, находясь примерно в таком же состоянии, сумел миганием век надиктовать книгу, в которой рассказал об ощущениях жертвы «локд-ина». Книга вызвала в обществе интерес к теме, о которой раньше не знал никто кроме узкопрофильных специалистов – ведь случаи псевдокомы случаются очень редко. Начали проверять коматозников, и оказалось, что некоторые из них находятся в сознании, просто полностью лишены всяких коммуникативных возможностей. Кто-то просуществовал на положении овоща семь лет, кто-то четырнадцать. В одной Франции сегодня выявлены четыре сотни пациентов с «локд-ином». С ними налажен контакт, они общаются с друзьями и родственниками – то есть пользуются всеми привилегиями господина Нуартье. Недавно Пятница читал мне статью про чудесный аппарат NeuroSwitch, который позволяет движение века транскрибировать в текст на мониторе компьютера. О Боже, если б у меня появилась такая возможность... Нет, мне не нужно выздоровления. Я не хочу вернуться к жизни. Я хочу умереть, зная, что выполнила то, ради чего жила на свете. Вся моя надежда на освобождение связана с Пятницей. Бессчетное количество раз просила я его о помощи, но для Пятницы мои просьбы лишены смысла. Его занимает феномен рыбки, говорящей с ним движением «плавников». Пятнице нравится сам процесс – переводить трепет ресниц в слова, а значение этих слов его не интересует. Много лет я умоляла его: «Скажи им, я живая». «NeuroSwitch, NeuroSwitch, – твержу я ему все последние месяцы, – хочу, хочу». Монотонно повторяет он за мной короткие фразы, довольно улыбается: рыбка опять что-то сказала, занятно. И опять читает вслух либо просто сидит, слегка раскачиваясь. Я никогда не знаю, какую из моих просьб он выполнит. Самое простое – согнать муху или вытереть стекающую слюну, поправить подушку – он иногда делает, иногда нет. Однако ни за что не позовет сестру или врача, эти просьбы я давно оставила. Зато достаточно мне наморгать ему слог «чи», то есть «читать», и Пятница тут же берет с тумбочки какой-нибудь «Вестник нейрогенетики» и продолжает с того места, где остановился в прошлый раз. Возможно, его завораживает звучание непонятных слов, мудреных медицинских терминов. Английский или немецкий текст он читает по правилам французского произношения, но я давно к этому привыкла и понимаю почти каждое слово.

Пятница – мой абсолютно симметричный антипод. Я замурована от окружающих, а он, наоборот, поместил весь мир за сплошную стеклянную стену и бесстрастно наблюдает за ним, будто пришелец, глядящий из иллюминатора летающей тарелки.

Нет, не совсем точная метафора. Для Пятницы люди – рыбки за стеклом аквариума, бессмысленно шевелящие губами, плавниками и хвостами. Одна из рыбок чем-то привлекла внимание созерцателя. Я его любимица. Поэтому он сыплет мне крошки, осторожно трогает пальцем за плавник, забавляется моими капризами. Я очень боюсь, что однажды его любопытство

иссякнет и он исчезнет. Из курса психиатрии я помню, что аутистам никогда не надоедают действия и привычки, вошедшие в ритуал, но мало ли что. Вдруг мой единственный друг найдет себе рыбку позанятней, или его вдруг переведут из «Времен года» в какое-нибудь другое заведение. Это будет самый ужасный из всех ударов, какие еще может обрушить на меня судьба. Все равно что отобрать у нищего последний грош.

Итак, моя единственная надежда на избавление – нездешнее существо, которому никто не нужен и которое вряд ли вообще понимает смысл слова «надежда».

Ловкие, сильные руки медсестры двигают меня, поворачивают. Какие-то прикосновения я чувствую, какие-то нет. Антипролежневый массаж воспринимается как очень легкое, едва заметное пощипывание. Спина совсем утратила тактильную способность; в коже ног кое-что сохранилось.

– Приятного аппетита, мадам, – говорит Марина Васильевна перед тем, как запустить капельницу.

По вене струится щекочущий ток питательного раствора. Я жду, пока щекотка закончится, чтобы сделать цикл упражнений по гемоциркуляции в тех отсеках кровеносной системы, которые остались мне подконтрольны. Это занятие требует полной концентрации воли. К разговору я не прислушиваюсь. Обрывки фраз и отдельные слова пробиваются ко мне из мрака сами.

У моей предположительной родственницы милый тембр голоса, протяжная московская речь, которой я давно, очень давно не слышала.

Где-то далеко по-прежнему существует Москва, и там по-прежнему живут люди, которые уютно акают и проглатывают гласные.

– Дьманстра-ация какая-то, – говорит девочка, очевидно разглядывая фотографию шествия в поддержку Учредительного Собрания. – Всё-тки непаня-атно. Зачем тут эта фтагра-фия? На Питер пахоже... Ну-ка, что на транспара-анте написано? «Добро пожаловать, народные избранники!». Зима-а, сне-ег, ша-апки, платки. Нет, правда, зачем Мадам тут это повесила?

Затем, моя «масковская девачка», что где-то на этой «фтаграфии», среди шапок и платков, иду я. Все, кто меня там окружает, умерли. Из тысяч людей, вышедших на улицу поддержать всенародно избранный парламент, который в тот же день будет разогнан большевиками, на свете осталась я одна.

Вдруг включается кинокамера эйдетической памяти. Сама собой, сразу, во всей полноте цвета, звука и того, что не в состоянии передать никакое кино – сочетания запахов, тепла и холода, сиюмоментной остроты чувств.

Я давно привыкла к возникновению картинок из прошлого – как вызванных усилием воли, так и спонтанных. Воспоминания наполняют мои дни смыслом, нервом, эмоциями. Без этого инструмента многолетнее существование в темной и тесной гробнице беспомощной плоти было бы невыносимым, невозможным.

Наряду с гиперосмией, то есть усилением обоняния, и гиперакузией (усилением слуха), а также развившейся биорецепционной способностью, я получила от жизни еще одну компенсацию за неподвижность – быть может, самую драгоценную: гипермнезию.

Я очень хорошо разбираюсь в фокусах памяти. Эта тема входила в предмет моих исследований. Поэтому механизм феноменального обострения и принципиального реструктурирования памяти в мозге, утратившем ряд своих обычных функций, мне известен.

Человеческая память иконична, то есть вся состоит из отдельных «иконок» – как меню компьютера. Это хранилище можно также сравнить с огромным архивом, стеллажи которого забиты массой нужных и ненужных документов. В нормально функционирующем мозге «доку-

менты», не востребованные в сегодняшней жизни человека, пылятся забытыми, но всё равно хранятся. Всё, что мы когда-то видели, слышали, осязали, обоняли, пробовали на язык, не исчезает.

Иногда доступ к давно не востребованному «документу» внезапно восстанавливается во время стрессовой ситуации. Например, после травмы головы человек вдруг может с невероятной точностью вспомнить какую-то сцену или деталь из далекого прошлого: ярко, зримо, подробно. Это включается эйдетическая, чувственная память, которой все мы обладаем в младенческом возрасте. Потом она постепенно вытесняется памятью вербально-логической.

Нарушение нормального кровоснабжения заставило мой мозг расчистить иные, давно заросшие тропы, сняло блокировку с ископаемых слоев памяти, что находятся в глубинных подземельях подкорки, гораздо ниже уровня сознания. Не сразу, постепенно, мне открылся доступ в глухие комнаты, галереи и закутки огромного здания всей моей длинной жизни.

Воспоминания в моем случае – слово чересчур приблизительное и бледное, чтобы передать эффект повторного переживания событий, когда-то уже случившихся. Я одновременно нахожусь здесь, в палате, и там, в прошлом. Всё, что я видела и ощущала в тот момент, вплоть до сердечного трепета, мимолетных запахов, скользящих теней или приглушенных звуков, воскрешает во мне.

Больше всего мое нынешнее существование напоминает жизнь в библиотечном зале. Я снимаю с полок книгу за книгой. Все их я когда-то уже читала, сюжеты мне известны, но детали подзабылись. Иногда книга сама падает с полки, я подбираю ее, вглядываюсь в случайно раскрывшуюся страницу – и уже не могу оторваться.

Мысли при этом во мне могут возникать теперешние (ведь я знаю, что случилось дальше), но эмоции – те, давние, испытанные в миг первого прочтения. Что-либо изменить в судьбе главной героини и других персонажей я не властна. Это действительно похоже на перечитывание старого романа. Представьте, что вы заглянули в «Войну и мир», читаете про Бородинский бой, знаете, что на следующей странице осколок бомбы раздробит Болконскому бедро, всё внутри вас сжимается от ужаса, но спасти князя Андрея вы не можете, разве что захлопнуть книгу и не читать. Или вы перечитываете сцену, в которой Анна Каренина дольше нужного заглядывается на чугунные колеса паровоза – и бессильны ее предостеречь. Точно так же, в черный день своей жизни, я всё бегу за угол, на лязг трамвая, и ни за что не остановлюсь, даже не оглянусь назад. Что случилось, то случилось, изменить ничего нельзя.

Московская девочка заговорила про зиму, шапки и платки. С полки упала книга, распахнулись пожелтевшие страницы. Я заглядываю в них – и замираю. Но вижу я не январское шествие, которое через несколько минут будет расстреляно из винтовок и пулеметов. Я стою на Знаменской площади, перед Московским вокзалом. Я запыхалась, жадно глотаю воздух. Он пахнет тающим снегом, холодным солнцем, сырым ветром, навозом, бензином – петроградской весной.

Сашенька. Вокзал

Я приподнимаюсь на цыпочки, мне не хватает роста. Нужно не потерять в толпе Давида.

Толпа серая, нечистая, крикливая. Мешочники, расхристанные солдаты, визгливые бабы, очень много крестьян – раньше их в столице было почти не видно. За последний год Питер будто укатился из Европы в Азию, из двадцатого века в допетровские времена. Всё перепуталось, всё перевернулось. Город стал шумным, грязным, каким-то бесстыжим. Будто спившийся и опустившийся персонаж Достоевского, он упивается глубиной своего падения, старается казаться еще гаже, чем есть. Витрины, даже те что целы, закрыты мерзкими досками и рогожами. Трогуары замусорены. Приличная публика нарочно рядится в рванье. Все объясняется исключительно криком и бранью.

Пока я топчусь на месте, тяну шею, меня несколько раз пихают и матерят, но я этого почти не замечаю.

– Семь рублей от Знаменской площади до Большого проспекта?! – возмущается приезжая дама, неубедительно замотанная в бабий платок. – Это всегда стоило полтинник! Побойтесь Бога, любезный!

– Бога нынче нету, – отвечает ей с козел извозчик. – А «любезные» в Чрезвычайке сидят. Хошь – ехай, не хошь – катись на...

Дама ахает:

– Господи, что за времена! Ее хватают за рукав:

– Кому тут времена не нравятся?

(Это конец марта восемнадцатого года. Я нынешняя отлично знаю, что по-настоящему страшные времена впереди: Чрезвычайка еще не обзавелась расстрельными подвалами, семь рублей – все равно деньги, и даже извозчики пока не исчезли. Но мне тринадцатилетней кажется, что настал конец света, уже протрубил последний ангел и сейчас, через несколько минут, на землю опустится вечная тьма. Россия умерла, город умер, а как только уедет Давид, я тоже умру.)

Пока отец с ним рядом, я даже не решаюсь подойти, проститься. Самое большее, на что я осмеливаюсь: подобраться шагов на десять, спрятавшись за тумбой, обклеенной декретами и воззваниями.

Слышу, как отец говорит:

– Пойду, выясню, на каком пути литерный. А ты следи за тачкой. Глаз не спускай!

– Кому тут нужна твоя целлюлоза, – усмехается Давид.

Он прав. Я следила за ними от самого дома. Видела, как на углу Невского их остановил патруль. Матрос в офицерской бекеше порылся в тачке, не заинтересовался: не золото, не соль, не сало – старые книги с непонятными письменами.

И вот отец уходит, Давид остается один. Чудо, настоящее чудо!

Я тут же подхожу к нему. Нельзя терять времени. Сколько его у меня – три минуты, пять?

– Это я, – говорю я.

И улыбаюсь. Гибнет мир, я умираю, но мне почему-то нужно, чтобы Давид об этом не догадался.

Он выше меня на полголовы. Глаза у него сине-зеленого цвета. Каждый раз, когда я их вижу, удивляюсь – всё не привыкну, что у человека могут быть такие глаза.

Давид удивлен, но не особенно.

– Привет. Питер я запомню, как маленький город, где мне постоянно встречалась Сашенька Казначеева. Ты что тут делаешь?

– Пришла с тобой попрощаться, – говорю я.

Раньше в таких случаях я изображала удивление: надо же, какая встреча. Но мне не хочется оскорблять трагическую минуту ложью.

Я отлично вижу, что мое появление для Давида – событие не шибко важное. Он возбужден предстоящей дорогой. Я смотрю на него не отрываясь, а он то и дело вертит головой – не возвращается ли отец.

– Вроде попрощались уже. Вчера еще.

Это правда. Он заходил ко мне домой, сказал, что всё наконец решилось, пан Дудка сдержал слово, добыл пропуск, и завтра они с «папочкой» уезжают в Москву, а оттуда в Пензу, где чехословацкий штаб. От этого известия я так одеревенела, что не могла произнести ни слова. Помню только, что вяло ответила на рукопожатие, и он ушел.

– Вчера я забыла тебе кое-что дать. На память.

Я достаю из-под пальто конверт. Он теплый, потому что лежал около сердца.

– Ух ты! – Давид разглядывает снимок. – Демонстрация пятого января. Где взяла? За такую картинку нынче и посадить могут.

– Нашла у одного фотографа. Он хотел сжечь, а я выкупила. Это тебе на память – о Петрограде, о том дне... ну и вообще.

Я не решаюсь сказать «обо мне». Фотограф очень боялся, но я упростила его сделать два отпечатка. Подумала, что, если подарю Давиду какую-нибудь из моих карточек, он, пожалуй, потеряет или выкинет, а эту будет хранить.

Где-то там, среди моря голов, мы с Давидом. Другого снимка, на котором мы вместе, у меня нет и теперь уже не будет.

– Ах да, – вспоминает он. – Мы же в тот день познакомились. Вроде недавно было, а будто в другую эпоху. Демонстрация в поддержку Учредиловки. – Давид, словно не веря, качает головой. – Сколько ж это времени прошло?

Фотографию он небрежно сует в карман своего потрепанного, но все еще элегантного пальто, и я вдруг ясно понимаю: это для него никакая не ценность, потеряет.

– Семьдесят семь дней, – отвечаю я.

(Дурочка себя выдавала с головой, она лелеяла в памяти (именно так это и называла: «лелеяла») каждый из них, начиная с самого первого. Но мальчику так мало до дурочки дела, что он ее оплошности и не заметил.)

* * *

Пятого января 1918 года мы договорились участвовать в уличном шествии всей нашей фракцией, Лена Гржебина даже обещала приготовить транспарант «Александровская гимназия за демократическую отчизну!», но в результате к Марсову полю, где собирались сторонники Учредительного Собрания, из класса пришла я одна. Других девочек не пустили родители, а я своих и слушать не стала бы.

Я знала про себя, что я девочка с характером, и гордилась этим. Он сформировался у меня не так давно. Всего год назад, даже меньше, я была обычная гимназисточка, папина-мамина дочка. Переписывала в альбом стихи Бальмонта и Мирры Лохвицкой, всхлипывала над книжками Чарской и была влюблена в киноактера Осипа Рунича. Я трепетала, когда папа хмурил брови над моим кондуитом, прятала от мамы роман Анны Мар «Женщина на кресте», боялась заглядывать в комнату к бабушке. Во-первых, там ужасно пахло, а во-вторых, однажды бабушка вцепилась худой, с лиловыми венами рукой мне в волосы и обозвала «мерзкой интриганкой». Приняла за кого-то из своего прошлого. Бабушка выжила из ума, никого не узнавала.

Теперешняя девочка с характером сказала бы: «Отстань, старая ведьма!» Но год назад такие слова я могла бы произнести только мысленно.

В считанные месяцы изменилось всё: окружающая жизнь, я, домашние.

Я появилась на свет поздно, первым и единственным ребенком, когда родители больше не надеялись. К моим тринадцати мама была уже наполовину седая, папа – вообще старик, за шестьдесят, про бабушку и говорить нечего, она родилась еще при Пушкине. Бабушке, можно сказать, повезло. Она впала в детство, удалилась в далекую-далекую эпоху, и ей там было хорошо, гораздо лучше, чем нам.

Знаете, что такое революция? Это когда сначала все бегает с горящими глазами, надевают красные банты и шумно радуются. Потом мир начинает разваливаться, всё быстрее, всё необратимей, и каждый новый день хуже предыдущего. Перестают мести дворы и улицы. Товары сначала дорожают, затем исчезают. Ночью на улицах крики «Караул! Грабят!», но никто не свистит в свисток. Во время осенней стрельбы прямо перед нашим подъездом лежал мертвый человек, и целый день его не подбирали – боялись выйти.

С началом зимы стало совсем странно. Газеты с пустыми страницами, мертвые фонари, с улиц куда-то исчезла приличная публика, сплошь серые папахи да черные кепки, и ходят почему-то не по тротуарам, а по проезжей части. Дома невообразимые разговоры, шепотом: «Надо потерпеть, скоро придут немцы, и всё устроится».

До неузнаваемости переменялся папа. Раньше он был важный человек, заведующий кредитно-ссудным столом в банке, а теперь ни кредитов, ни ссуд, да и банков, говорят, скоро не будет. Мама все время плакала и не хотела выходить из дома.

Я их обоих презирала за трусость и пораженчество, а летом одно время даже ненавидела, потому что хотела записаться в женский батальон смерти, наврала на призывном пункте, что мне семнадцать, и меня уже почти взяли, я была высокой для своего возраста, но прибежали родители, показали документы, и я была с позором изгнана.

Когда начались выборы в Учредительное Собрание, весь наш класс поделился на фракции. Я была за эсеров – за правых, не за левых же! Какое началось у нас ликование, когда выяснилось, что больше всего голосов собрали *наши*. Первый настоящий русский парламент был наш!

Утром пятого января я произнесла перед папой и мамой горячую речь, корила их за упование на немцев. Учредительное Собрание, избранное волей народа, наведет в стране порядок, а если понадобится, призовет на помощь союзников. Нужно только быть гражданами, а не быдлом – продемонстрировать предателям революции большевикам, что нас много, что это наш город и наша страна!

– Ты никуда не пойдешь, – жалким голосом сказал папа. – Я тебе запрещаю! Ты еще ребенок! Они будут стрелять!

Презрительно расхохотавшись, я продекламировала из Максима Горького, который тоже был на нашей стороне: – «Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах!»

Шмыгнула на улицу через черную лестницу, только меня и видели.

Колонны шли к Марсовому полю с девяти назначенных пунктов сбора. Уже очень давно не видела я такого количества *нормальных* людей с *нормальными* лицами, в *нормальной* одежде. Кроме интеллигентов пришли студенты, гимназисты старших классов, рабочие – настоящие, петроградские, а не собранные по деревням неумехи да пьяницы. Женщин собралось не меньше, чем мужчин. Я сновала туда и сюда, мне хотелось всё увидеть, всюду успеть. «Вот как нас много, – радостно думала я, – это вам не провинция, это град Петров, столица! Нас больше, чем большевиков! Недаром они получили только четверть мандатов! Это наша страна! Мы цивилизованные и умные, мы за свободу и человеческое достоинство!»

В толпе говорили, что в Таврическом дворце уже собираются депутаты, что многие не смогли добраться до Петрограда, потому что на транспорте творится безобразие.

Были и такие, кто беспокоился, не устроят ли большевики какую-нибудь провокацию – даром что ли они объявили в городе осадное положение. Кто-то рассказывал, что Шпалер-

ную перекрыли вооруженные матросы с крейсера «Аврора» и линкора «Республика», бывшего «Павел Первый». Но когда один господин в бобриковом пирожке и пенсне опасливо сказал: «Не открыли бы эти разбойники стрельбу», на него со всех сторон накинудись: «Не сейте панику!» «Расстрел абсолютно невозможен! Абсурд!» «Какими бы мерзавцами большевики ни были, новое «кровавое воскресенье» они устроить не посмеют!» Бобриковый пирожок согласился: «Да, пожалуй, на такое не решится даже Ленин».

Голова многотысячного потока, кое-как построившись в шеренги, с пением «Марсельезы» двинулась через Фонтанку в сторону Литейного. На мосту, изящно облокотившись о перила, стоял юноша в распахнутой гимназической шинели и, насмешливо улыбаясь, смотрел на проходивших мимо поборников демократии. Я обратила на него внимание, потому что, несмотря на снегопад, он один был без шапки, снежинки поблескивали на черных волосах, словно блески. Длинный конец белого шарфа был перекинут за спину и тоже переливался серебром. В углу краснотупого рта дымилась папироса в черном с золотом мундштуке – немислимая в прежние времена вольность для гимназиста.

Мальчик был так красив, что я поперхнулась припевом «Вставай, подымайся, рабочий народ!», споткнулась и потеряла место в шеренге. Поток выбросил меня на тротуар прямо к чудесному красавцу.

Небывалого цвета глаза, синие с зеленым отсветом, остановились на мне, оглядели с головы до ног.

– О, Александриночка! – сказал ослепительный брюнет, и я окончательно вообразила, что это наваждение. Откуда он мог знать мое имя?

Но юноша тряхнул волосами, которые с великолепной небрежностью свешивались на чистый лоб, и прибавил:

– А я александровец – тезка и сосед.

Только теперь я поняла, что моего имени он не знает, а просто увидел вензель на шевроне. Учениц нашей Александровской гимназии называли «александринками». «Александровцами» были учащиеся Второй мужской гимназии, прежней императора Александра Первого. Она находилась на Казанской улице, неподалеку от нашей Гороховой.

– Свободу защищаешь? – подмигнул александровец, но не нахально, а так весело и просто, что «тыканье» меня не покорило. Как еще обращаться друг к другу посреди демонстрации, где все единомышленники и товарищи? То есть, не товарищи, конечно, (это прекрасное слово опорочено и опоганено негодяями большевиками) – но соратники по борьбе.

Мне еще предстояло узнать, что главным даром Давида была не красота, а удивительная естественность во всем. Никогда и ни с кем мне не будет так просто и легко, даже с лучшими подругами. Сама ведь я по складу характера – девочка, очень далекая от естественности. Всё время что-то собою изображаю, хочу произвести впечатление, живу так, словно норовлю каждую минуту подглядеть в зеркало – ну-ка, хорошо ли я смотрюсь? А рядом с Давидом я будто попадаю туда, где мне предписано быть природой, и ничего больше не нужно, только жмуриться и урчать, как кошке на солнечном подоконнике.

Мы познакомились, и само его имя показалось мне невероятно красивым, экзотичным, библейским. У нас в гимназии был учитель рисования, Давыд Петрович. В его имени мне всегда слышалось что-то грубое и вульгарное. Как многое меняет всего одна буква, думала я пораженно.

– Ты в каком классе? – спросил Давид.

– В четвертом, – сказала я и тут же пожалела, что не соврала, потому что он оказался шестиклассником.

– Мне через неделю пятнадцать, – гордо обронил он. Даже в этой цифре мне привиделось нечто особенное.

Дик Сэнд, пятнадцатилетний капитан, пронеслось в голове.

– Ладно, пойдем за стадом баранов. Поглядим, чем кончится, – предложил новый знакомый.

– Пойдем!

Мы повернули на Литейный. «Марсельеза» кончилась. Проходы во все улицы и переулки по правой стороне проспекта были перекрыты хмурыми матросами и красногвардейцами с винтовками в руках.

– Жан-дар-мы! Жан-дар-мы! – принялась скандировать толпа.

– Как они блеют, – поморщился Давид. – Даже заорать как следует не могут. Овцы! Сейчас матросня начнет их пинками и прикладами разгонять, а они будут только: «Бе-е, бе-е, по какому пра-аву, бе-езобра-азие!».

Я засмеялась. Заблеял он очень похоже.

– С хамьем не так надо, – убежденно сказал Давид.

– А как?

– Вот как: та-та-та-та-та! – Он изобразил, будто строчит из пулемета. – По-другому они не понимают.

Мы дошли до Шпалерной, которая ведет прямо к Таврическому дворцу. Как ни странно, заграждения там не было, и колонна повернула направо.

– Похоже ничего интересного не будет, – разочарованно протянул Давид. – Большевички сообразили, что баранов бояться нечего – покричат да разойдутся. Может, свинтим?

Я впервые слышала это слово, оно мне ужасно понравилось.

– Свинтим!

Что бы он ни предложил, я на всё бы согласилась.

Мы дошли по пустому Воскресенскому до Кирочной. Давид рассказывал, какая «лафа» у них в гимназии: домашних заданий не спрашивают, для шестых и седьмых классов открыли курилку, совет учащихся постановил увеличить продолжительность перемен до двадцати минут. Я ахала, восхищалась.

Когда мы были возле Спасо-Преображенского собора, вдали затрещало и захлопало – густо, безостановочно.

– Черт, стреляют! А мы ушли! – плачуще воскликнул Давид. – Эх, никогда себе не прощу! Бежим скорей туда! Может, еще застанем!

– Бежим! – с готовностью подхватила я. И мы побежали.

Через две или три минуты, на Фурштатской, навстречу нам повалила разрозненная толпа. Я увидела белые, перекошенные лица.

– Куда вы?! Куда?! – рыдающим голосом крикнул нам пожилой господин в съехавшей набок шапке. Он держал руку возле уха. Я увидела, как между пальцев у него стекает темно-красная жидкость, и мне вдруг стало очень страшно. Представилось, что Давид точно так же будет зажимать рану, и по его руке польется кровь.

Я схватила его за рукав шинели.

– Нет! – закричала я. – Я боюсь! Пожалуйста, ну пожалуйста, проводи меня домой! Не бросай меня!

Он злобно поглядел на меня, даже ногой топнул.

– Связался с мелюзгой! Где ты живешь, чучело?

– В Москательном...

Стреляли уже не в одном, а в нескольких местах. Захлебываясь, ударила пулеметная очередь – не «та-та-та-та», как недавно изобразил Давид, а скорей «гы-гы-гы-гы», словно кто-то давился гулким, хищным гоготом.

– Ладно, только бегом! Может, еще успею вернуться!

Он грубо схватил меня за кисть, и мы побежали в том же направлении, куда все. Давид всё оглядывался на выстрелы, дергал мою руку и прикрикивал: «Да живет ты!»

Возле Аничкова моста попробовал от меня избавиться: «Ну всё, тут уже спокойно, сама дойдешь!» – но я вцепилась в него обеими руками.

– Тьфу! Вот привязалась...

Только на углу Невского и Садовой ему удалось от меня отделаться. И то лишь потому, что пальбы было уже не слышно.

– Спасибо! До свидания! – крикнула я в спину стремительной фигуре с летящим вслед белым шарфом. Не оборачиваясь, он отмахнулся, как от мухи.

Семьдесят семь дней назад это было, одиннадцать недель. Целых одиннадцать недель я чувствовала себя глубоко несчастной, а на самом деле была фантастически, непристойно счастлива – только теперь, на вокзальной площади, я это вдруг понимаю.

Мне всего тринадцать лет, но я уже знаю, из чего складывается формула любви. Подобно тому, как человеческий организм на две трети состоит из воды, любовь на две трети состоит из страха. Особенно, если живешь в такое время и любишь такого человека.

За Давида я боялась всякий день и всякий час. Даже ночью мне снилось, что он бежит со своим развевающимся шарфом навстречу людям в серых шинелях, они стреляют из винтовок, он падает, по белому снегу растекается черная кровь.

Я твердо знала: Давиду суждена недолгая жизнь, он обречен сгинуть молодым. Потому что он бесшабашный, без царя в голове. В какой-то книге я прочитала, что на свете есть люди с ослабленным инстинктом самосохранения. Вот и он был из таких же.

Люди с винтовками в серых шинелях стали мне сниться после одного ужасного происшествия, случившегося через две недели после манифестации.

К тому времени я уже знала, что мою любовь (про себя я употребляла именно это слово, безо всякой стыдливости) зовут полностью «Давид Каннегисер» и живет он на Садовой, наискосок от Юсуповского сада, вдвоем с отцом. Выследить Давида близ Второй гимназии после окончания занятий было нетрудно. Он выделялся среди остальных гимназистов, будто принц среди челяди – так мне, во всяком случае, казалось.

Несколько дней я подстерегала его то около подъезда, то на Казанской, возле гимназии. Мне хотелось узнать о Давиде как можно больше. Попастись ему на глаза я не пыталась – мне было вполне довольно просто его видеть. Ну а кроме того (мука, терзание!) я несколько раз видела его в компании румяной черноволосой барышни, которая была и старше, и красивее, чем я.

Тем вечером он тоже был с нею, а я шла, отстав шагов на двадцать, и думала: «Как гадко она хохочет! Неужели ему это нравится?» Они вышли из его дома, зашагали в сторону Екатерининского канала. Видеть меня они не могли, январские сумерки были темны, фонари почти нигде не горели. Но тот, под которым стояли, лузгая семечки, двое расхристанных в папах с красными лентами, как раз лучился тусклым электрическим светом, и я предусмотрительно отстала. Поэтому и не услышала, из-за чего произошла стычка. Один солдат, с полицейской саблей на портупее, что-то сказал. Второй похабно зареготал. Давид неразборчиво, но звонко ответил.

И тут – у меня подкосились ноги – один серый схватил его за воротник, а второй, оглушительно заматерившись, скинул с плеча винтовку.

– Что ты сказал, контра? Кадет! Барчук сраный! – услышала я звериный, страшный крик.

Тот, что держал Давида, с размаху, неуклюже ударил его кулаком в лицо – Давид сел в сугроб.

Больше я ничего не помню. Я будто ослепла.

Потом Давид с беззаботным смехом, прижимая ком снега к своему расквашенному носу, рассказывал, что я налетела на «пролетариев» из тьмы «как хан Мамай» и «хрясь, хрясь по спинам, да по башкам». Солдаты якобы шарахнулись от меня в разные стороны, плюнули и ушли.

Я слушала и не верила. Неужели правда?

Но он был жив, серые люди исчезли, а на тротуаре стояла дрожащая барышня и глядела на меня с неподдельным ужасом.

Потом, всхлипнув, она медленно и неловко, придерживая рукою полу длинной шубки, побежала прочь.

– Бедняжка Фанни, у нее шок! – Давид перестал смеяться. – Она существо нежное, не тебе чета. Откуда ты тут взялась?

И, не дожидаясь ответа, кинулся за нею:

– Фанни, успокойтесь! Всё позади!

– Ах, оставьте! – со слезами крикнула нежная Фанни. – Вы сумасшедший! С вами опасно ходить по улицам!

Пусть я нежная, пусть я даже хан Мамай, сказала себе я. Главное, что он жив. И что он остановился, не бежит за нею.

Это было зимой, а сейчас весна. Холодная, грязная, петроградская, но все равно весна. С утра солнце, седьмой час пополудни, а еще светло. Я стою лицом к лицу с Давидом, не замечая, что под ногами лужа и мои войлочные боты промокли. Толпы я тоже не замечаю. Мы вдвоем, на свете никто больше не живет, и я хочу стоять так вечно.

(Ты и стоишь так вечно, тринадцатилетняя Сашенька. Ничто не исчезает. Просто становится невидимым. Но я, слепая, умею видеть, и я тебя вижу.)

Возбужденно он рассказывает о своих планах. С отцом он только до Волги, а там сбежит, это решено. На юге собираются добровольцы – офицеры, интеллигенция, студенчество. Это армия нового, невиданного в истории типа. Орден Белых Рыцарей. Они очистят и спасут Россию.

– Тебя не возьмут, – говорю я. – Тебе только пятнадцать лет.

Давид снисходительно усмехается. Он всегда обращается со мной, как с малолетней дурочкой.

– Я выгляжу на все семнадцать. А документов там не спрашивают. Хочешь воевать – дают оружие и в бой.

У меня остается очень мало времени. Вот-вот вернется его отец. Я должна сказать Давиду, что его никто и никогда не будет любить так сильно, как я. И что моя жизнь кончена.

Но я не дура, я вижу, что ничего этого говорить не нужно. «Мое сердце разбито, теперь я знаю, что это не просто слова», думаю я. Самая ужасная мука – когда хочешь отдать самое дорогое, что у тебя есть – всё, что у тебя есть, а человеку это совсем не нужно.

Если бы я была на год или на два старше и хоть чуточку красивей!

Никогда я не проводила столько времени перед зеркалом, как в эти одиннадцать недель. Дома меня все с детства называли красавицей, и я этому простодушно верила. Но теперь я научилась смотреть на себя со стороны и возненавидела родителей за гнусный обман.

Никакая я не красавица. Я малолетняя косноязычная уродина.

В феврале я шесть дней не выходила из дому, потому что прямо на кончике носа у меня выскочил ядовито-красный прыщ. Эти дни украдены из моей жизни, их нужно вычистить из семидесяти семи. Правда, я три раза телефонировала в квартиру Каннегисеров, и один раз трубку снял Давид. «Хелло, – сказал он. – Слушаю... Кто это?»

Мама что-то такое про меня вычислила, но на все вопросы я отвечала презрительным молчанием или огрызалась. Участливо-снисходительная мина на мамином лице была мне оскорбительна.

В дни «прыщевого» затворничества от тоски я читала дневник Марии Башкирцевой, который мне с хитрым видом подсунула мама: вот, мол, прочти-ка. Но пользы от этого чтения мне не было, одна злость. Меня бесили излияния моей ровесницы, которая в блаженной Ницце, в блаженную эпоху, сохнет от глупой любви к «герцогу Г.», коего она ах-ах несколько раз видела издали. Какая дура эта Муся со своими пошлыми рассуждениями о том, что бедняк непременно жалок и что она никогда не унижится до любви к человеку «ниже ее положением». Герцог Г., естественно, женится на какой-то герцогине, так и не узнав о влюбленной русской девчонке, и Муся страницы напролет убивается по этому комичному поводу. Мне ее совсем не жалко. Это не настоящая любовь, а томные девичьи фантазии. Ничего похожего на то, что происходит со мной.

Много раз читала я в романах про любовь и влюбленность, но никто из писателей не описал этого отупляющего и унижительного состояния, когда превращаешься в какую-то железную скрепку, которую притягивает к магниту неудержимая сила (нам демонстрировали это на уроке физики) – не по своей воле и не по влечению сердца, а по законам природы. Потому что так устроен мир.

Отупение и безволие поразительным образом сочетались во мне с невесть откуда взявшейся трезвостью ума и изворотливостью – про это тоже не писали ни Тургенев, ни Стендаль. Например, я твердо знала, что навязываться Давиду ни в коем случае нельзя, только всё погубишь. Поэтому каждую встречу я готовила, как стратег из Генерального штаба, колдующий над картами и сводными таблицами.

Первая операция завершилась тактическим успехом и стратегическим поражением. Я узнала, что он приглашен на именины в один дом, где жили знакомые моих дальних знакомых. Несколько дней интриганствовала, осуществляла всякие хитроумные маневры и добилась-таки, что меня тоже позвали. Но Давид едва обратил на меня внимание. «А, – сказал он, – александринка Александрина. Привет, как дела?» Я хотела рассказать, как у меня дела, целый рассказ приготовила, но он отошел и больше за весь вечер ко мне не приближался.

Потом один раз, шестнадцатого января, тщательно рассчитав время и расстояние, я столкнулась с ним на углу Гороховой и Казанской. Подстроила так, чтоб он первым меня заметил и окликнул. Тут мы перекинулись парой фраз. Каждое сказанное слово я запомнила, записала, тысячу раз повторила с разными интонациями и поняла, что надежды нет.

Случайными встречами, однако, злоупотреблять не стоило. Приходилось довольствоваться слежкой издали, чтоб он меня не видел.

Однажды вечером я смотрела, как он катается на коньках в Юсуповском саду. Фонари не горели, но на берегу пылал костер, возле которого грелись какие-то ночные люди. Посверкивал ледяной пруд, и по серебристой его поверхности стройная, наклоненная вперед фигура выписывала круги, от неизъяснимого изящества которых таяло мое бедное сердце.

После того, как я ханом Мамаем напала на серых людей, период слежки и подглядывания закончился. Нежная Фанни бежала, поле боя осталось за мной. Щека у меня была поцарапана, рукав надорван (ей-богу не помню, как это случилось), и Давид повел меня к себе – «лечить раны».

– Ты тут живешь? А я и не знала, – соврала я, не веря счастью.

– Вон в том доме, – показал он. – Это он тебя ногтями? Представляю, что за когти у пролетария. Еще столбняк будет. Или бешенство. Надо тебя йодом намазать. И у меня всё юшка из носу течет... Папочка вообразит, что мы с тобой подрались. Я с отцом живу.

– Правда? – снова очень натурально удивилась я. – Он у тебя кто?

Давид скорчил гримаску:

– Никто. Еврей.

Тут я в самом деле удивилась. Ответ показался мне странным.

Давид объяснил:

– Раньше папочка был негоциант, а теперь сделался просто еврей. Как мамы не стало, он свихнулся, по-настоящему. Наденет шапочку, привяжет к локтю коробочку и всё молится, свечки жжет. Или книги древнееврейские читает. Приложился к народу своему. Никого кроме евреев знать не хочет. С родственниками, кто субботу не соблюдает, разговаривать перестал. А из всех Каннегисеров по Галахе (это закон еврейский) давно уже никто не живет. У меня Яков, брат двоюродный, георгиевский кавалер. Другой двоюродный, Лёня, юнкером был, с большевиками дрался. А я знаешь кто? Я, оказывается, принц израильский, прямой потомок царя Давида. Папочка сделал это великое открытие, пролопатив тыщу старинных книг. Говорю же, он у меня полоумный. Принц израильский, каково?

Давид заразительно засмеялся, я тоже хихикнула, хотя внутренне пришла в восторг. «Вот в чем разгадка, – подумала я. – Он – Принц! Отпрыск самой древней и самой благородной из всех династий!»

– Смехота. Мы всегда были богатеи: лакеи, два авто, вазы-алмазы, а теперь у нас вообще ничего нет, – говорил Давид, когда мы поднимались по широкой и, видно, еще недавно очень нарядной, а теперь темной и замусоренной лестнице. – Даже жрать нечего, честное слово! Всё из-за чрезмерной еврейской предусмотрительности. Папочка еще летом перевел имущество в эту, как ее, в ликвидность. Одни пустые стены остались. Переправил денежки за границу. А сами уехать не успели. Зимой гардины на муку меняли, всю мебель в печке сожгли. Такого потешного дома ты еще не видала. На картонных коробках живем, представляешь?

Он хохотал, ему в самом деле было смешно.

Я действительно подобного жилища еще не видывала. Но оно совсем не показалось мне потешным. Огромная, темная квартира, каждый шаг по паркету отдавался недобрым эхом. Голые лампочки, свисая с потолка, давали слабый, зловещий свет. «Тайна из тайн и чудо из чудес, что Давид вырос в этом сумеречном царстве таким солнечно-лучезарным», – сказала я себе и решила, что дома обязательно запишу эту фразу в дневник.

Сделалось совсем жутко, когда из двери выглянул седобородый старик в круглой черной шапочке. За его спиной, в свете канделябра, виднелся стол, заваленный старинными книгами в шоколадных переплетах.

– Привет, папочка. Это Александрина. У нас было маленькое приключение. Ничего страшного. Где у нас йод?

– В ванной, – ответил старик, пристально на меня глядя. На мое приветствие он не ответил.

Давид, насвистывая, ушел куда-то по коридору. Мы остались вдвоем. Молчание старика, его суровый взгляд пугали меня.

– На нас напали солдаты. Но мы их прогнали, – сказала я, чтоб нарушить тишину. Попробовала улыбнуться. – Я так заорала, что они испугались и убежали...

Он закончил меня рассматривать. Не спросил – утвердительно произнес:

– Девочка, вы не еврейка.

– Нет...

Кивнув, старик продолжил:

– И вы, конечно, влюблены в моего красивого мальчика? Вы мечтаете соединиться с ним, когда вырастаете. – Я обмерла. – Не отрицайте, я всё вижу. Еще я вижу, что вы очень упрямая девочка и умеете своего добиваться. Но в священной книге «Дварим» сказано: «Не роднись с ними». Вот что я вам скажу: больше сюда не приходите. Никогда. А моего мальчика оставьте в покое. Вы сами по себе, мы сами про себе. Это вот всё, – он кивнул на темное окно, за

которым – обычное для этой зимы дело – гремели дальние выстрелы, – ваши гойские дела. Это, пожалуйста, без нас, без евреев.

Со мной, тринадцатилетней девочкой, он говорил так, будто это лично я всё устроила – революцию, распад, разруху.

Вместо того чтоб сказать умалишоту что-нибудь утешительное, я вздумала спорить. Очень уж потрясла меня сатанинская пронизательность старика и объявленный запрет.

– Как это без вас? – возмутилась я. – В революции столько евреев! Чуть ли не евреи ее и устроили!

– Не евреи – апикойресы, вероотступники.

С этими словами он взял меня за руку, довел до двери, подтолкнул в спину и захлопнул за мной створку.

Вытирая саднящую щеку полуоторванным рукавом, я поплелась домой. Завтра можно будет подстеречь Давида около гимназии – еще одна случайная встреча. Но как быть с его «папочкой?»

Таких евреев, как Каннегисер-старший, я никогда еще не встречала. Раньше я думала, что евреи – те же русские, только с нерусской фамилией. Вроде петроградских немцев или поляков. Пока не заболела бабушка, у нас часто принимали гостей. Я знала, что биржевой маклер Тер-Осипян – армянин, а присяжный поверенный Ехно – финляндец. Выглядели, держались, разговаривали «инородцы» так же, как все. Если бы папа однажды, не помню по какому поводу, не обронил бы, что наш семейный доктор Лев Львович – еврей, мне бы это и в голову не пришло.

Но старик в черной шапочке, будто злой чародей, возведший неодолимую преграду между мной и Давидом, испугал и заинтриговал меня. Природу его чар нужно было разгадать, иначе они не рассеются – такое у меня было чувство. И я засела за книги.

Оказалось, что книжек про евреев в книжных лавках очень много. Уроки я теперь по большей части прогуливала, домашних заданий не делала, благо гимназия стала не той, что прежде: преподаватели ходили растерянные, многие вообще исчезли, да и девочек в классе осталась едва половина.

До глубокой ночи, холодея от мистического ужаса, я читала то про страшное чудовище по имени Голем, то про всемирный заговор сионских мудрецов, то про всеислие еврейского капитала, то про кровь христианских младенцев. Всё это не отвращало меня от евреев, а наоборот притягивало к таинственному племени. Надменная иудейская непримиримость к любовным связям с гоями меня завораживала. «Отец мой сказал, что закон Моисея любить запрещает тебя, – шептала я с полужакрытыми глазами, раскачиваясь в ритм лермонтовским строкам. – Мой друг, я внимала отцу не бледнея, затем, что внимала любя... И мне обещал он страдания, мученья, И нож наточил роковой, И вышел... Мой друг, берегись его мщенья, он будет как тень за тобой». Я представляла себе, как мы с Давидом лежим посреди Садовой улицы двумя хладными трупами, а старик у себя в угрюмой келье возжигает жертвенную свечу и читает по-древнееврейски молитву Авраама-сыноубийцы.

Но вскоре я вычитала, что еврейкой не обязательно родиться – ею можно стать, и во мне забрезжил свет надежды. Нужно принять Гиюр, поклясться соблюдать заповеди Торы – только и всего!

Господи Иисусе, то есть не Иисусе, а Яхве! Я была готова выучить все 613 заветов наизусть и свято их выполнять, даже самые странные: проломить затылок осленку, если хозяин не желает выкупить его, или приготовить пепел непонятной «красной коровы». Гои, принявшие «закон Моисея», называются «гер» и обладают всеми правами еврейства. Для женщин, правда, есть одно ограничение: они не могут выходить замуж за коэнов, потомков первосвященника Аарона, ну и черт с ними. Давид происходит не от каких-то там священников, а от царей!

Я начала зубрить Тору на русском и на иврите. Думала: месяца через три, когда все заповеди будут у меня от зубов отскакивать, пойду к господину Каннегисеру и скажу, чтобы он или какие угодно раввины испытали меня и приняли в еврейки. Вряд ли это будет труднее, чем прошлогодний экзамен по церковно-славянской грамматике, который я сдала с третьей попытки.

Дошла я до 145-ой из запрещающих заповедей: «*Аль тохаль басар корбанот хатат ве ишам ме хуц ла хацер бэйт ха микдаш*» («Не есть мясо жертв *хатат* и *ишам* вне храмового двора»), и тут наступила весна, Каннегисеры засобирались в дорогу, зубрежка утратила смысл. Хотя в глубине души я и раньше понимала, что с Торой всё глупости, девичьи фантазии а-ля Муся Башкирцева. Не станет сумасшедший возжигатель свечей меня, малолетнюю идиотку, ни экзаменовывать, ни даже слушать.

Не знаю, отчего все так пускают слюни по весне. Отвратительное время года. Тает снег, из белого и чистого мир делается мерзко-серым и неопрятным. Вылезают на всеобщее обозрение сор, дерьмо, трупы мелкой живности – крыс, кошек, ворон. Обнажается шелудивое, неопрятное тело земли – она сама будто гниющий, изъеденный червями труп. С юга прилетают крикливые черные грачи, зато улетают милые пунцовогрудые снегири. Чему здесь радоваться?

(Так думаю я, тринадцатилетняя, стоя в грязной луже среди галдящей привокзальной толпы. Мне хочется плакать и кричать в голос, но я улыбаюсь и молчу.)

– ...Фактически немцы войну выиграли, – уверенно говорит Давид. Я киваю. Выиграли так выиграли. – Читала? Они прорвали франко-английский фронт. За три дня захватили семьсот тридцать тысяч пленных, шестьсот орудий! Обстреливают Париж из огромных пушек, с расстояния в сто верст, каково?

– Потрясающе, – кисло улыбаюсь я.

Пушай победят немцы, если ему так хочется. Мне и самой странно, что я так долго их ненавидела. Цивилизованная нация. Наведут порядок, загонят всех серых, грубых, по щелям и подвалам, где этому мышинному племени самое место.

Но жалко тратить последние минуты на разговоры про войну и политику. Ах, если б он хотя бы на прощанье сказал мне что-нибудь нежное. Я хранила бы эти слова в памяти, как главную, как единственную драгоценность моей несчастной жизни.

Но Давид ничего такого не скажет, ему и в голову не придет.

Он переходит на наших дураков-генералов, которые окончательно погубят Россию. Своей дремучестью и сиволапостью, людоедскими призывами к виселице и нагайке они могут оттолкнуть от себя цвет страны – людей передовых, мыслящих.

– ...Папочка говорит, что эти идиоты из-за своего дурацкого жидоморства лишат себя поддержки американского еврейского капитала, которому тоже не нравятся большевики. Кто тогда даст денег на войну с Лениным и Троцким?

Я знаю верный способ прервать эти страстные речи.

– Ой, я же тебе принесла... – Я достаю свертки – из одного кармана, из другого. – Это сахар и изюм, в дорогу. А это бутерброд, на сейчас.

– Здорово!

Еще Давид радуется куда больше, чем фотографии. Ровными зубами он кусает белый хлеб с чайной колбасой. Подмигивает мне.

Я изо всех сил улыбаюсь. В носу щиплет.

Слишком поздно, меньше двух недель назад, на меня снизошло озарение, позволившее мне встречаться с Давидом каждый день. До того моё существование делилось на светлые даты – когда я с ним разговаривала – и темные, когда для встречи не находилось предлога.

Я знала, что Каннегисеры распродают последние вещи, даже из одежды почти ничего не осталось. Среди прочего давно сгинул и памятный белый шарф. Но мне, как всякому сытому, не приходило в голову, что рядом кто-то может недоедать – уж особенно принц.

И вот Давид, как всегда со смехом, сказал:

– Папочка, мудрец сионский, выкинул хлеб, который я купил на последние рубли! Сегодняшний обед перенесся на завтрашний ужин.

– Выкинул хлеб? Зачем?

– Потому что Тора велит накануне пасхи устранить весь *хамец* из дома. Вот он, мудрец сионский, и оставил меня зубами щелкать.

Я уже знала, что *хамец* – это всё квасное, сделанное на дрожжах.

– А кроме хлеба у вас ничего нет?

– Воск от папочкиных свечек.

Только теперь я заметила, как Давид похудел за время нашего знакомства. Его матовая кожа стала почти прозрачной, а голубые тени под глазами, казавшиеся мне такими аристократичными, оказывается, объяснялись самой неромантической причиной – недоеданием.

«Дура, эгоистка! – обругала я себя. – Только о себе думаешь!»

А в следующий миг меня осенило. *[Глядя на Сашеньку Казначееву из своего дальнего сегодня, я думаю, что уже тогда обладала полезным, хоть и стыдноватым даром – извлекать практическую пользу даже из возвышенных порывов души.]*

В тот же день, вернувшись домой, я объявила родителям, что бойкот закончен.

В феврале отец дал на службе подписку, что будет сотрудничать с Советской властью и обязался «сочувствовать делу пролетариата». За это ему и таким, как он, стали выдавать «наркомфиновский паек». Продуктов в открытой продаже становилось всё меньше, а те, что еще оставались, можно было купить лишь по совершенно заоблачным ценам. Отец же каждую неделю приносил что-нибудь съестное: крупу, масло, сало, иногда консервы. Мы жили сытнее многих. То есть *они*, родители – но не я. Принципы не позволяли мне даже прикасаться к этой иудинной мзде. С отцом я перестала разговаривать. Матери разрешала кормить меня только тем, что покупалось в лавках или на рынке.

Бедные папа с мамой были сами не свои от счастья, когда я вдруг сменила гнев на милость. Твердое условие – что есть я буду не за общим столом, а у себя в комнате – было принято беспрекословно.

Уже вечером я подкараулила Давида возле подъезда.

– На вот, – сказала я небрежно, со смехом. – Сало к вашей еврейской пасхе.

Он развернул бумагу, блаженно понюхал, но – принц есть принц – спросил:

– А ты?

– Во-первых, не люблю. Во-вторых, у нас много. Папаше диктатура пролетариата выдает.

Подражая Давиду с его жалеюще-насмешливым отношением к отцу, я своего стала называть противным словом «папаша».

С тех пор я каждый вечер приносила ему что-нибудь поесть. Он снисходительно принимал подношения. Темные дни из моей жизни исчезли, остались одни светлые.

– А вот и «папочка», – говорит Давид с набитым ртом. – Ну, мне пора!

Я вижу чернокнижника, похитившего мое счастье. Он стоит на ступеньках, манит рукой, будто притягивает невидимой нитью моего заколдованного принца. Рядом какой-то усатый, в кепи, в голубоватой шинели. Догадываюсь: это пан Дудка, про которого я столько слышала. Старинный, еще довоенный «папочкин» партнер из Праги. Попал в русский плен, Каннегисер-старший ему помогал, а теперь капитан из облагодетельствованного сделался благодетелем. Он какой-то начальник в штабе чехословацкого корпуса. Корпус отправляется на Дальний Восток, и капитан пристроил Каннегисеров в один из эшелонов.

По-настоящему чеха звали то ли Дудек, то ли Доудек, это Давид прозвал его «паном Дудкой». Мне прозвище кажется не смешным, а зловещим. Поняв, что в одиночку со мной не справиться, иудейский чародей призвал на помощь сатанинскую дудку, и заиграла волшебная мелодия, и мой суженый потянулся за нею, как бедный, одурманенный ребенок за флейтой гаммельнского музыканта.

Когда вопрос их отъезда окончательно решился, я устроила дома шумную сцену. Кричала, рыдала, трясла сжатыми кулаками. Я требовала, чтобы мы тоже уехали на восток, потому что все нормальные люди бегут из этого обреченного города, из этой проклятой страны, и если родителям наплевать на себя, то пусть хоть подумают о дочери.

Папа ретировался от моих воплей в кабинет. Мама растерянно слушала.

– Всё это, может быть, и так, – сказала она, когда я перешла с крика на тихий вой. – Но как быть с бабушкой? Куда ее повезешь в таком состоянии?

– Бабушка ста-арая, а у меня впереди вся жи-изнь... Мама тихо спросила:

– Значит, когда мы с папой состаримся, ты нас бросишь? Ну, это твое дело. А за нас не решай.

И оставила меня плакать в одиночестве.

Как же я их ненавидела! Особенно бабушку, которая никак не хочет умирать и поэтому тянет меня за собой в сырую землю, хоронит заживо. Если б знать как, я ее отравила бы!

(На миг я вновь становлюсь злобно рыдающим подростком, маленькой леди Макбет Мценского уезда, ради любви готовой на любое преступление.) Но страница переворачивается – я опять на Знаменской площади, перед вокзалом. Ненависти нет, лишь отчаяние.

– Поцелуемся на прощанье, если ты не против? – шутливо говорит Давид.

Я тяну к нему губы, но он чмокает меня в щеку. Подмигивает.

– Счастливо, малышка. Больше, наверно, не свидимся.

Он подхватывает тачку с древними книгами, катит ее к вокзалу, весело покрикивая: «Расступись, народ честной!»

– Будь счастлив, любовь моя! – кричу я вслед.

Давид не слышит, но кто-то за моей спиной с хриплым хохотом говорит: «Вась, слышал, чего соплюха сказала?»

Бреду не разбирая дороги, смотрю вниз. Тающие льдинки хрустят под моими шагами.

Мне только тринадцать лет, но жизнь кончена, впереди ничего кроме тоски, слез, темноты. И никому об этом не расскажешь. Никто не поймет, не пожалеет. Только посмеются, как тот хриплый. Ну мама, конечно, потешаться надо мной не станет, даже пожалеет. И обязательно скажет что-нибудь вроде: «Ничего, все проходят через первую влюбленность. Время быстро заживает такие раны. Будешь потом вспоминать и улыбаться». Это хуже любой насмешки.

Дома я прямиком иду к себе в комнату, бросив на ходу:

– Завтра контрольная по литературе! Буду готовиться. Попрошу меня не трогать!

Битый час, с лупой в руке, изучаю снимок манифестации. Ужасно хочется найти в толпе нас с Давидом. Вот чья-то темноволосая макушка – единственная без шапки. Я решаю: это он. Начинаю целовать, но мои губы слишком велики, я лобызаю разом несколько десятков голов.

Беру книгу – просто потому, что она лежит на столе.

Читаю, механически: буквы, слова, предложения, абзацы.

Гаснет лампа – опять перебои с электричеством. Я зажигаю свечу. Наверное, так же полвека назад сидела вечером над своим дневником Муся Башкирцева. Я скольжу взглядом по строчкам, там всё какие-то восклицательные знаки.

Вдруг вчитываюсь – вздрагиваю. *«Одна вещь мучает меня, что через несколько лет я буду сама над собой смеяться и забуду его. Все эти горести будут казаться мне ребячеством, аффектацией. Но нет, заклинаю тебя, незабывай! Когда ты будешь читать эти строки, воз-*

вратись мысленно к прошлому, представь себе, что тебе тринадцать лет, что ты в Ницце, что все это происходит в эту минуту! Думай, что все это еще живет!.. Ты поймешь!..»

Слезы наворачиваются на глаза, капают на страницу. Я плачу, не могу остановиться.

Мне невыносимо горько, оскорбительно, унижительно от мысли, что, конечно, всё именно так и будет. Права мама с ее придуманной мною утешительной речью. И Башкирцева права: в том же дневнике, став взрослой, она будет подшучивать над своей детской любовью к «герцогу Г.». Я тоже вырасту, успокоюсь, забуду, встречу другого или других, буду подсмеиваться над тринадцатилетней дурочкой, а фотографию выкину.

Я встаю на колени и начинаю молиться, как не молилась даже в раннем детстве.

«Господи Иисусе, заклинаю Тебя! Сделай так, чтобы я никогда-никогда ничего не забыла! Чтобы никогда не успокоилась, никогда не смеялась над собою прежней! Чтобы я никогда не предала ни его, ни себя, ни эту весну, ни свою любовь!»

(Молитва была услышана. Прошел почти век, а я ничего не забыла. И мне не смешно.)

Летом

Сандра в приснившемся городе

Самое мучительное время года. Считается, что неподвижным больным противопоказано кондиционирование воздуха, оно может спровоцировать в ослабленных легких воспаление – именно это чаще всего сводит паралитиков в могилу.

Только не таких, как я. Мои легкие в идеальном состоянии, пневмония не грозит им даже на самом сильном сквозняке, но никто кроме меня этого не знает.

Даже в прохладной Нормандии иногда выдаются очень жаркие дни, а нынешнее лето бьет все температурные рекорды. Вторую неделю жара за тридцать.

Я давно приучила себя игнорировать болезненные или неприятные ощущения, с которыми ничего не поделаешь. Иначе я давно бы свихнулась. Но струйки пота, которые очень медленно, почти непрерывно стекают по сохранившим чувствительность участкам тела, напоминают китайскую пытку водяной каплей. Кожа, и без того тонкая, непрочная, размокла и сама собою лопается, сразу во многих местах. Новая массажистка невнимательна и неловка, ее торопливые пальцы, щупающие мое тело будто для проформы, доставляют мне столько страданий, что, если б я могла, то кричала бы от боли. Вся надежда на то, что эта отвратительная тетка (в ее излучении я считываю женскую неудовлетворенность, нетерпеливую злобу, истеричность) халтурит не только со мной, что на нее кто-нибудь нажалуется и она отправится обратно в свой Вильно.

Сегодня особенно скверно. Дежурная сестра неплотно сдвинула шторы, жгучие лучи утреннего солнца падают прямо на мое лицо. Кажется, лоб и нос обгорели – это со мной теперь происходит моментально. Еще хуже то, что из губ выскользнул слюноотвод, а сглатывать я не могу. Рот переполнен, по щеке все время течет. Неужели Пятница этого не замечает?

Нет, он сидит неподвижно. Вероятно, пялится в потолок – я могу определять его позу по шуршанию одежды и скрипу суставов. Так он может просидеть очень долго.

Впрочем, не факт, что он поправит слюноотвод, даже если увидит, как я мучаюсь. Бывает по-разному. Если б каким-то чудом на несколько секунд ко мне вернулась власть над телом, первое, что я бы сделала: взяла бы Пятницу за шиворот, подтащила к стене и стучала бы его замороженной башкой о дубовую панель, пока дерево не треснет!

Стоит мне подумать о панели, и я забываю о слюне, каплях пота, сгоревшей коже. Возникает соблазнительная мысль, от которой – я чувствую – резко учащается пульс.

А что если мне *можно умереть*? Что если так *будет лучше*?

Спокойно, спокойно, говорю я себе. Это нужно обдумать.

Когда я умру, это помещение освободится, так? Так.

Комнате придумают иное применение, так? Несомненно.

Для этого здесь сделают ремонт, которого много лет не было. Я слепа, но можно не сомневаться, что обои выгорели и местами надорвались, краска на потолке облупилась и так далее. Здесь ничего не подкрашивали, не переклеивали, чтобы не травмировать меня резкими запахами и не вызвать аллергии. Но когда я умру, комнату приведут в порядок и сделают перепланировку – объединят с соседней комнатой в единое пространство. Однажды я слышала, как Марина Васильевна, привыкнув относиться ко мне как неодушевленному предмету, преспокойно обсуждала с другой медсестрой уже решенный администрацией вопрос: *когда палата освободится*, устроить здесь просторную комнату отдыха для среднего медперсонала.

Стало быть, если я освобожу им палату, они станут разбирать стену. Снимут дубовые панели и непременно обнаружат сейф. То главное, что я должна отдать людям, прежде чем

смогу уйти, попадет к ним само! Получается, что своим цепляньем за жизнь я только мешаю этому!

Господи, неужели я зря держусь столько лет?!

Господи, неужели я могу покинуть свой каземат?!

Я заставляю себя успокоиться. Ввожу глубокое дыхание, делаю геморегуляцию. Пульс приходит в норму. Мысли перестают выталкивать одна другую.

Ремонт будет, сейф найдут и вскроют. Всё так. Но первое, что сделают рабочие, обнаружив научные записи с формулами, – отнесут эту абракадабру к Мангусту, ведь он здесь главный. И тогда Мангуст наконец получит то, чего так долго ждал, а окружающим наплетет какой-нибудь ерунды, и все поверят – ведь он здесь единственный специалист. Мои муки, мое терпение, всё пропадет впустую. Мангуст победит. Он подотрет свою задницу всей моей жизнью.

Как бы не так! Я буду терпеть, ждать и надеяться на чудо.

А физические страдания – пустяк. Просто я разнюнилась, утратила контроль. Но это мы сейчас наладим.

Осязательные ощущения мне сейчас только во вред. Полностью отключить их непросто, для этого нужна абсолютная концентрация, предельная мобилизация воли. Я уже пыталась, не вышло. Но сейчас обязательно получится. Злость поможет.

Я заново делаю весь цикл дыхательно-кровоточной гимнастики. Нейтрализую проблемные зоны: кожу лица, взмокшую спину, бока.

Прилив, отлив. Прилив, отлив. И внутрь, внутрь, подальше от нервных окончаний.

Хорошо.

Следующее – перефокусироваться на иной орган чувств.

Обоняние... Запах собственного пота, памперсов. У Пятницы в полости рта происходит какой-то гнилостный процесс.

Нет, обострять обоняние не нужно. Лучше слух.

И я, как писали в романах времен моего детства, вся обращаюсь в слух.

Рядом, в полуметре, ровно дышит Пятница. Он неподвижен, но здоровые мышцы не могут находиться в тотальном покое, и стул чуть-чуть поскрипывает.

Дрогнуло оконное стекло – это слегка подул ветер.

Со второго этажа, несмотря на толстое перекрытие, донесся звук пианино.

За стеной, из моей бывшей спальни, слышатся голоса. У моей соседки гость, мужчина. При всей патологической остроте слуха разобрать слов я не могу, но говорят по-русски.

Я привыкла к московской девочке. Ее зовут Вероника. Сначала я чувствовала, что внушаю ей страх. Думала, что после первого визита больше она у меня не появится. Но ошиблась. Девочка перестала меня бояться, она заглядывает ко мне довольно часто. Возможно, каким-то инстинктом уловила, что меж нами есть некая таинственная связь. Я-то, благодаря развитой биорецепции, почувствовала эту близость сразу же, но разобралась в ее природе не сразу. Предположила, будто мы какие-нибудь дальние родственницы. Но потом поняла, в чем дело.

Девочка излучает опасность – направленную не вовне, а внутрь. Где-то в области ее шеи или затылка я различила отчетливый источник смерти. Это ощущение невозможно описать точно. Попробуйте объяснить глухому, как звенит колокол, или слепому – что такое синий цвет. Всё, таящее в себе угрозу смерти, источает волны (этот термин я употребляю весьма условно) чрезвычайно резкого регистра. Со временем я локализовала и вычислила, что происходит с Вероникой. Да, мы с ней действительно состоим в родстве, но не по генам, а по судьбе. У бедной девочки, как и у меня, аневризма базилярной артерии, но гораздо более крупного размера и потому очень опасная. Если бы я умела говорить или если б Вероника умела меня слышать, я многое могла бы ей рассказать. Я спасла бы ей жизнь. Но контакта между нами нет. Девочка заходит в мою палату, иногда произносит несколько тихих слов. Не рассчитывая на ответ, постоит немного у окна и уйдет. Вот и всё общение.

Следующий после «слухотерапии» этап самолечения – средство еще более надежное: уход из настоящего в воспоминания.

Когда мне особенно тяжело и кажется, что силы на исходе, я позволяю себе взять из библиотеки памяти самую драгоценную книгу, действие которой происходит летом тридцать второго.

* * *

То лето тоже выдалось необычайно знойным – даже для Маньчжурии. Солнце раскалило тротуары, мостовые и крыши. В нашем палисаднике, несмотря на поливку, засохли все мамины цветы. Много дней не было ни дождинки, ни облачка, и Харбин весь клубился маревом, весь сверкал на солнце, словно начищенный самовар.

Но страница, которую распахивает передо мною память, укутана в уютный полумрак. На потолке, под зеркальными шарами, крутятся лопасти вентиляторов; пунцовеет бархат портьер; поблескивают инструменты джаз-банды, приглушенно играющего блюз.

Я одновременно здесь и там: здесь – всё знающая и помнящая, там – даже не догадывающаяся, что произойдет минуту спустя, когда оркестр заведет чарльстон.

Тамошнюю меня зовут Сандра. Никакой «Александрины» и тем более «Сашеньки» – фи! Мне двадцать семь лет.

На стене, напротив столика, висит зеркало. Я то и дело поглядываю в него и очень себе нравлюсь. У меня крупные черты лица, коротко стриженные волосы, смело обведенный помадой африканский рот, блестящие прищуренные глаза. Я выпускаю голубоватый сигаретный дым и становлюсь от этого еще эффектней.

У меня слегка кружится голова от двух коктейлей, еще больше я опьянена своим успехом. Сегодня я могу собою гордиться. К этому триумфу я шла целых восемь лет, с того самого дня как серой совдеповской мышкой ступила на перрон Харбинского вокзала после девятидневной поездки по убогой, разоренной стране.

Из мира рогожных мешков, землистых лиц, засаленных кепок и блеклых платков, где единственными всплесками цвета были кумачовые полотнища, я угодила в многоцветное сказочное королевство, полное автомобилей и разноязыких вывесок, населенное по-европейски нарядными, сытыми, улыбчивыми людьми. Я будто попала в далекую-предалекую страну моего раннего, еще довоенного детства. Только этот край именовался не Российской империей, а «Счастливой Хорватией». Так столицу русской Маньчжурии прозвали в память о генерале Хорвате, многолетнем начальнике Китайско-Восточной железной дороги, который не только выстроил и обустроил город Харбин, но сумел уберечь его от войны, мора и голода.

Остолбенев, смотрела я на киоски и витрины, на невиданное чудо – неоновые рекламы. Привокзальная площадь имела совершенно заграничный вид – не хуже, чем Вена или Будапешт, которые я, правда, видела лишь на картинках. Но самое удивительное, что повсюду слышалась только русская речь и виднелись только русские лица! Хотя нет, лица изредка попадались и китайские – носильщики, чистильщики обуви, рикши, – однако и они кричали, предлагая свои услуги, исключительно по-русски.

Первое, что я сделала, немного придя в себя, – обняла и поцеловала папу. Не избалованный ласками своей суровой дочери, он покраснел от счастья.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.